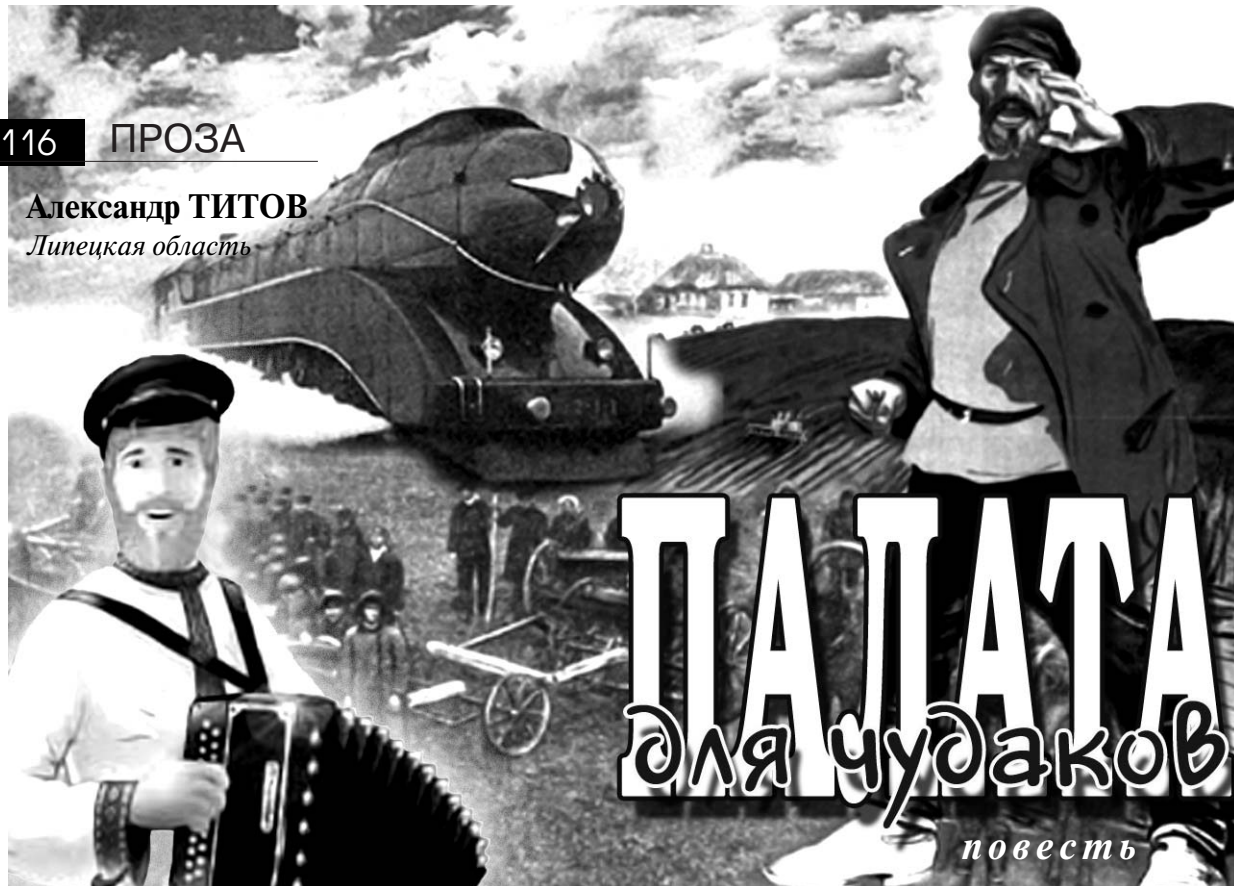


Александр ТИТОВ

*Липецкая область*

## ПИЩИКИ

В разгар лета я угодил в отдаленную больницу, расположенную на окраине большого села Пищики. Мне в ту пору было двадцать пять лет, я работал сотрудником районной газеты.

Один мой коллега сильно возмущался: уложить работника прессы в какие-то Пищики! Это прямое оскорбление не только редакции районной газеты, но и всей советской прессы. Однако доктор был прав: в деревенской больнице я мог быстрее подлечить свои расшатанные нервы.

Журналисту, по его мнению, как минимум, полагалась солидная койка в райбольнице. Однако свободных мест не было даже в коридоре, поэтому меня и направили в Пищики, где лечатся в основном старики.

Мой приятель по имени Лев не случайно был оскорблен такой ситуацией: при случае и его могли сбегать в такую же глухомань. Только он при его характере и мощном голосе не поехал бы ни в какие Пищики — выбил бы себе местечко в обкомовской больнице, а там, глядишь, и в столичный институт пробрался бы.

Со мной все было ясно: в его глазах я был конченным человеком, или попросту размазней.

Больница стояла на краю выгона, напротив старой полуразвалившейся церкви, над куполом которой не было креста. И сам купол облысел, железо с него поободрали. Изогнутые стропила напоминали сломанные ребра. На них разлапистыми дегтярными буквами здешние озорники написали «Динамо» и «Фантомас».

Здание больницы почти не было заметно среди разросшихся лип и кленов. В палисаднике бушевала задичалая малина вперемешку с акацией и сиренью. Больничная территория была окружена свежим забором из штакетника, крашенного в желтый казенный цвет.

Больница была тихая, спокойная. Народу здесь было мало, и кормили неплохо — колхоз выписывал для больных мясо. В ту пору колхозы были добрыми.

Иногда из-за нехватки лекарств (в то время я думал, что лекарства — это та же замедленная смерть, отравляющая, так сказать, с другой, «официальной», стороны), а также от крепкой здоровой пищи старики выздоравливали и на собственных ногах уходили к своим деревням.

Одна пищиковская старушка, находясь в морге (врач решил, что она отдала концы, и велел отнести ее в каменный сарайчик, сложенный из позеленевших замшелых плит известняка), ночью замерзла и очнулась. Ее, как она сама после рассказывала, «разобрала трясушка невозможная».

Старушка не любила холода, потому и отжилела. Пошла не в палату, а сразу домой, разбудила посередине ночи родню, велела затопить печку. Своим появлением она здорово переполошила родственников, до которых еще днем дошел слух о том, что бабуля преставилась и лежит в морге.

На следующий день они снова сдали ее в больницу со скандалом, потому что в документах она значилась умершей, а родственники написали жалобу на врача, не умеющего поставить диагноз мертвецу.

А еще был случай с дядей Михаем — этот пожилой толстенький мужичок лежал в нашей палате. Врачу в тот вечер зачем-то понадобился шофер, куда-то надо было ехать, и нужно было сказать шоферу, чтобы тот готовил машину. Вот наш доктор Василь Василич и послал дядю Михая разбудить шофера.

Дядюшка добросовестно выполнил поручение. Он так долго тряс спящего, что тот даже на пол свалился, а просыпаться никак не хотел. Дядюшка так и доложил доктору: не желает ваш водитель вставать!

Василь Василич рассердился, обозвал дядю Михая болваном: это же надо ухитриться перепутать гараж с моргом!

Я впервые лежал в больнице, и мне казалось, что время остановилось. Изредка гудели на большаке автомобили, стучали вдалеке поезда.

Врач — высокий румяный парень, провинившийся в райцентре и «сосланный» в Пишки, работал здесь около года. Старушки его недолюбливали. Он с ними не церемонился и говорил всю правду об их неизлечимых болезнях, подчеркивая приметы самой главной и общей их болезни — старости.

Тратил при осмотре на каждую не больше минуты: все равно тебя, старая, уже не вылечить!

А то залезет на охоту с колхозным начальством или на рыбалку с шашлыком — проводить времена непонятного наступившего века и помогать пропивать оставшиеся колхозные деньги. Так о нем судачили больные.

Зато здешние алкоголики души не чаяли в нашем докторе, особенно те, которые время от времени страдали белой горячкой. У Василь Василича в кабинете даже график такой шуточный висел: когда и какой клиент начнет стряхивать с себя змей или «заводить» трактор — крутить воображаемую рукоятку у кровати, полагая, что запускает двигатель. Лечил наш эскулап простым и оригинальным способом: давал больным немного спирта, и больному становилось легче — уползали прочь розовые змеи, рассыпались в разные стороны зеленые чертенята.

Сам Василь Василич к лекарствам относился снисходительно и советовал мужикам от простуды водку, смешанную со жжённым сахаром. Для этого столовую ложку сахара надо было расплавить на огне до жидкого состояния и влить тоненькой струйкой в стакан с водкой, отчего жидкость тотчас приобретала лимонно-желтый цвет. Многим действительно помогало.

В юности этот румяный богатырь собирался стать кинорежиссером, но не прошел по конкурсу. И все же задатки к режиссерскому делу у него были: он постоянно шутил, командовал, и настроение у него менялось сто раз на дню.

## КАЛИТКА

Вечерами скучно было сидеть в душной палате, и я по молодой привычке стремился выйти на улицу. Но дальше дикого больничного сада идти было некуда. В самом конце его имелась небольшая калитка, через которую можно было выйти прямо в поле. Кто и зачем сделал эту калитку, эту отдушину?

Здесь начиналась вспаханная зябь, крупные земляные глыбы, вздыбившиеся против мелкого морозящего дождя сухими, наваленными друг на друга комьями, промоченными лишь сверху черным пушистым слоем; и резко, как в конфете, пролегла граница между влажным и серым сухим слоем. Кое-где на вывернутых плугом грядках продолжали расти травинки, качали головками поникшие васильки.

Сам Василь Василич, находясь в лирическом настроении, выходил иногда через эту калиточку и стоял на травяной узкой обочине, задумчиво курил, разглядывая полевой простор. Однажды мы встретились с ним случайно на

этом месте. Мне показалось, что доктор обрадовался собеседнику — он уважал меня как местного журналиста.

Василь Василич курил, разговаривал как бы сам с собой, утверждая, что лечить надо всех: и людей, и землю, и даже облака, отравленные дымом заводов. Но лечить надо не просто так, а для некоего высшего смысла, для пользы и спасения всей отравленной разнообразными ядами России. Однако и таблетка, и любое другое лекарство излечит лишь того, кто стремится быть здоровым, поэтому надо иметь высокое русское настроение на высокую русскую жизнь. Он, Василь Василич, видит, как гибнет земля, и жалко эту землю до слез, и очень жалко современную русскую душу, становящуюся все более одинокой... Но что он, простой доктор, может поделаться? Осталось снять халат и сесть за руль трактора, чтобы лично возделывать эту землю... А вот простые мужики не хотят уже ничего, даже колхозные паи земли они давно уже пропили...

Василь Василич и сам был в тот вечер выпивши и все пытался, наклонившись, захватить щепоть землицы. Помня о новых в полоску брюках, ограничился лишь тем, что, присев на корточки, принялся гладить почву рукой, перетирая рыхлые комочки длинными и тонкими пальцами — он мечтал в юности снять фильм о родной земле!

Наши старушки очень страдали от равнодушия врача. Василь Василич им был нужен даже не в качестве доктора, а скорее в качестве утешителя, духовного исповедника. Пусть хоть совсем не лечит, лишь бы выслушивал все их долгие жалобы, когда от рассказа о болях в спине так и подмывает перейти к повествованию о горемычной своей «жистюшке».

## ЖИТЕЙСКИЙ СЛУШАТЕЛЬ

**В**какой-то мере таким человеком стал для них дядя Михай из нашей палаты. Он мог подолгу слушать рассказы о разнообразных старушечьих хворях — эти жалобы, переходившие постепенно в житейские истории и воспоминания.

Когда-то он и сам помаленьку занимался знанием, лечил людей травами, но больше утешением, вкрадчивым успокоительным словом.

Часто дядя Михай брал при этом листок бумаги, карандаш и рисовал на листке разные закорючки для пушшего лечебного воображения — бумага и карандаш привычны для взгляда нашенского больного и действуют на него успокаивающе.

Он был уверен, что душевная часть болезни отрывается от человека и улетает вместе с жалостливыми, против судьбы словами, потому как в воздухе слушающем также наличествует частичка Бога — Он и забирает из воздуха, наполненного слезами, все мерзкое и больное.

В родной деревне дядюшка считался колдуном, его побаивались, хотя лечебный дар его пропал давным-давно — после того как на него внезапно, без объявления войны, напала старушка заговорщица, лечившая заговорами и травами. Она жила по соседству, а дядя Михай перебивал у нее клиентов. Однажды, обернувшись свиньей, она накинулась на своего конкурента. Тот отбил от ведьмы палкой, раскровянил ей все рыло и колотил до тех пор, пока свинья-оборотень не убежала в лес.

На следующий день старуха показалась вся завязанная, закутанная платком до самых глаз, злобно косивших в сторону дяди Михая. Тогда-то он и пожалел, что влез в колдовство как в сурьезное дело, где работают такие ревнивые опытные люди, не позволяющие отбивать свой особенный хлеб.

Пришлось дядюшке съездить в Елец и купить банку святой воды. Вернувшись, он выследил момент, когда ведьма задремала на лавочке, подкрался и обрызгал ее водой, истратив чуть ли не весь свой запас.

Старуха вздрогнула от неожиданности, ахнула звериным голосом. Бес в ней заворочался, застонал: из-под платка пар пошел огненно-розовый, сатанинский. А вскоре старуха, лишенная поддержки дьявола, умерла, потому что ей было далеко за девяносто.

— Может, ты ее простудил? — усмехался другой больной нашей палаты Сапрон. Я его хорошо знал, был даже у него когда-то в подпасах.

— Чем ты хоть болеешь? — интересовался Сапрон, насмешливо оглядывая дядю Михая. — Целыми днями жрешь, спишь да старушек исповедуешь.

— У меня болезнь особая, диабетом называется, — степенно разъяснял дядя Михай, рылтый старик с одутловатым лицом, он лежал в самом

темном углу, где и газету нельзя было почитать. Тем не менее районную газету он читал регулярно — подсаживался к окну.

— Мне очень хорошо и вовремя кушать надо, иначе помру, — важно добавлял он.

Ночами я просыпался от его чавканья. Он ел старательно и с удовольствием, будто сознавая, что выполняет важную работу по спасению своего организма. Ел он всегда вдохновенно, жадным взглядом растворяясь в пище, ел, будто колдовал, нежно прикасаясь к размоченным в молоке кусочкам булки, сладострастно теребил неловкими пальцами кусочки мяса в налипших белых крупинках жира.

Он замечал мой взгляд, смотрел в глаза, не снижая темпа жевания.

Говорил он редко, медленно, в основном о болезнях — своих и чужих. Перед каждой фразой делал глубокий предварительный вдох, словно боялся умереть, не договорив предложения. Во взгляде его постоянно мелькала настороженная хитрость.

— Ежели человек спокойный сам по себе, то и здоровье у него хорошее, — любил повторять он.

Болезнь приключилась с дядюшкой после войны, от военных страхов испортились нервы, которые, в свою очередь, дали осадку на остальные органы.

Всю жизнь дядя Михай проработал обходчиком железнодорожных путей, жил в слободе на окраине поселка. Попробуй походи по шпалам всю ночь в кромешной тьме!.. Снег валит, ветер гонит поземку, раздувает парусом брезентовый плащ, а ты идешь с мигающим фонарем, в котором вот-вот погаснет, задохнется от ветра керосиновый фитилек. Рельсы отсвечивают снежными искорками, рябят в глазах.

А в это время сзади подкатывает невидимый и неслышимый паровоз, мчащийся с бешеной военной скоростью, везущий к фронту пушки и спящих солдат, давящий зазевавшихся обходчиков и сонных баб, бредущих с бидонами молока к утреннему базару.

Померещится звук, шорох, и, очнувшись от дремотного однообразия ходьбы, обходчик прыгает вниз, в накипь снежных сугробов, лежит ни жив ни мертв, а над головой с ревом и грохотом проносятся один за другим вагоны, и нечем дышать от закрутившейся снежной пыли, перемешанной с запахами мазута и ржавчины.

Идет дальше по шпалам, дрожит, успокаивается, и снова подбородок начинает клюкать в заледенелый от замерзшего дыхания шарф. Зашуршит рядом, скрипнет — и ты опять летишь прочь с рельсов в снежную пустоту сугроба. Воют вдали не то собаки, не то волки, воняет потухший от сотрясения керосиновый фонарь. Он-то, жестянка чертова, и создал шум, цепляя на ходу за край заколеневшего на морозе плаща.

— Сурьезное дело! — качали головами слушатели. — Пуганный ты, видать, здорово.

Как-то по весне, уже в середине войны, дядя Михай чуть вовсе умом не стронулся: заблудивший «юнкерс» сбросил три бомбы, не желая вести остаточный груз в Германию, прицелил на полотне одинокую, сгорбившуюся от усталости фигурку обходчика.

Первый взрыв был самый сильный: у обходчика отскочила голова и запрыгала, заскакала по траве, как живая, — черная, круглая, шипящая. Но это ему лишь почудилось: фуражку форменную сшибло воздушной волной.

До сих пор возле пустынного степного переезда остались три громадных воронки. Они почти незаметны, поросли крапивой, лопухами, весной в них подолгу застаивается вода.

Однажды, шагая по путям, дядя Михай обнаружил в разгар зимы лопнувшую на морозе рельсу. Он стал караулить поврежденное место, дал останавливающий сигнал приближающемуся составу.

Поезд остановился, зашипел нетерпеливо. Прибежала охрана, машинисты, замигали фонариками. Нашли стыковую накладку, скрепили кое-как разлом. Решили ехать, потому как на серьезную починку времени не было, утро уже близилось.

Так помаленьку, вагон за вагоном, пропустили состав через больное место. Обходчик лежал возле медленно вращающихся, поскрипывающих на тихом ходу колес, упирая в поврежденную рельсу заиндевевым штырем, и ему в тот момент ни капельки не было страшно. Это был единственный момент в его жизни, когда он совсем ничего не боялся.

За этот подвиг от начальства вышла благодарность, почетная грамота и премия — тридцать рублей.

В своей больничной тумбочке дядюшка держал пластмассовую иконку — купил в Ельце у



неизвестного человека на вокзале за два рубля. Держал ее на всякий случай при себе. Кроме иконы, имел еще нательный крест старинного происхождения.

Наши мужики сомневались, что это настоящая икона — обыкновенный портрет матери с ребенком на коленях. Но дядюшка стоял на своем: куплена как икона, стало быть, и есть икона. А что пластмасса, так что ж теперь, пластмасса — материал ходовой. Бог не допустил бы пластмассу, ежели был бы против нее.

— Бог, он завсегда дает знак... — шевелил дядя Михай седым заросшим подбородком, который он иногда подстригал ножницами. Говорил, одновременно пережевывая мясной хрящ из холодца, дробящийся на крепких желтых зубах. — Бог наслал на меня болезнь, стало быть, знак дает: а вот, дядюшка, и Я! В муках моих Он делается видным, сильным. Как дом из кирпичей, так и Он из моих болячек. И страх, и слезы мои — всё Он и Он!

Давился пищей, бледнел, испуганно шевелил кадыком, проталкивая недожеванный комок по старому изношенному пищеводу. Дядюшка всерьез опасался, что его желудочная часть не выдержит питательной лечебной нагрузки.

— Никогда не молился, не воображал долгих мыслей, а вот теперича живу и чувствую: кто-то есть «там», должен быть. Не зазя живу на свете, а для божьей пробы.

Дядя Михай всерьез ожидал второго всемирного потопа, собранного из людских слез. Должны эти слезы как-то соединиться, проявиться общей массой. Капелька за капелькой — и вот уже океан. Так и ахнет все разом на землю, и уж тогда никто не спасется.

## МУЗЫКАНТ В ПИЖАМЕ

Лежал в нашей палате гармонист, известный своей игрой на весь район. Я много раз видел его на свадьбах и гулянках. За ним, бывало, из других деревень присылали и даже из городов.

Гармошку он взял с собой в больницу и часто играл здесь с откровенным удовольствием, преображающим костистое изболевшееся лицо. Сядет после тихого часа на белый табурет, прислонится к теплому стволу старого клена, играет потихоньку грустные мелодии. Да и ка-

кие еще сыграешь в больнице, когда на плечах твоих полосатая пижама, рукава которой то и дело сползают на пальцы, мешая играть, а на ногах вместо сверкающих, до блеска начищенных полуботинок растоптанные тапочки.

Вялый больничный народ обступал его широким невнимательным кругом. Присаживались на скамейку, на старые ящики, а то и просто на траву. Некоторые стояли, прислонившись к красной кирпичной стене. Две пожилые женщины в длинных больничных халатах, взявшись за руки, словно две маленькие подружки, перешептывались о чем-то. Мужики курили, разговаривали, будто им и дела не было до гармошки, но слушали помаленьку, вздыхали как бы невзначай.

Гармонист был здорово болен, вроде бы рак горла: разговаривать он не мог, глотал одну жидкую пищу. Изредка мычал, шевелил рукой, когда ему что-то требовалось.

Лицо у него белое, будто из гипса слеплено. Когда он переставал играть и сидел неподвижно на табурете, опираясь руками на гармонь, то казался мертвым, хотя человек с гармошкой не должен казаться таким. Мне чудилось, что вот-вот у него отвалится кусочек губ или носа, напоподобие того, как отваливается штукатурка от старого, измоченного дождями здания. А когда он, борясь с одышкой, засовывал дрожащими руками папиросу в рот, то я опасался, что он проткнет ею себе кожу на скулах — тонкую и сухую, как бумага. Но глаза гармониста были живые, искрились во время игры зелеными оттенками. Растягивая меха, он вслушивался в свою мелодию, стеснительно прикрывал глаза ресницами.

Гармонист часто отдыхал. В перерывах между игрой слышался шелест листвы над горячей больничной крышей. Солнечные пятна, сбегающие с металлической кровли, проносились по травяной опушке, мельтешили по острым худым коленям гармониста, рассыпались по халатам слушателей желтыми брызгами.

Казалось, все прислушивается к тому теплоте, густому лепету листвы, какой всегда слышится в пору срединного лета, когда оно уже заваливает на свою вторую половину. Ветер, запутавшись в ветвях, вначале шелестел, будто на ощупь отыскивал дорогу на вольный простор, временами гневно шумел, запутываясь в гуще зелени, перекручивая сучки, раска-

чивая скрипящие, изленивевшие в теплыни лета стареющие стволы.

Больничный пес Пират валялся под ногами слушателей, пялился на гармошку, приоткрыв пасть, вздымая светлым в клочках сена животом, набитым больничными объедками. В самых пронзительных местах мелодии, когда гармошка уходила из переборов в тонкий растяг звуков, Пират вытягивал шею и жалобно подвывал, слезясь ленивыми коричневыми глазами.

Старушки бродили по больничному лугу, собирали цветы — все в пестрых одинаковых халатах.

— Поиграй нам «Сиротку»! — просили они гармониста.

Он кивал головой, прилаживал пальцы к клавишам, чтобы сразу начать музыку.

Какая грустная была эта «Сиротка»! Даже грозная санитарка Матрена, которую сам Василь Василич побаивался, вытирала слезы подолом лоснящегося халата, стараясь делать это потихоньку. Но вот она, оглядевшись по сторонам и заметив в стайке больных какой-нибудь беспорядок, принималась ругаться, перекрывая своим грубым мужичьим голосом не только звук гармони, но и рокот случайного трактора, проезжающего мимо больницы на ферму.

Глядя на гармониста, слушая его игру, я чувствовал, как что-то давнее, детское, последнее из простого, лучшего поднимается во мне. Прошла моя короткая молодость, обещанная этой гармошкой!

Сапрон, слушая гармонь, кивал головой, словно что-то утверждал.

«Вот этого у нас никто не отнимет!» — воскликнул он однажды.

Что такое «это», которое нельзя отнять, он не пояснил, а спрашивать я не осмелился. Наверное, под «этим» он имел в виду обыкновенную тоску людей, запечатлевшуюся в мелодии гармошки. Но кто станет отнимать тоску, кому она нужна?..

— А я бы запретил... — бормотал другой старик, Пал Иваныч. Он тоже был наш поселковый житель, я его хорошо знал — «ветеран всех событий» дружил когда-то с моим покойным дедушкой. Пал Иваныч тоже всякий раз выходил на улицу, слушал гармошку, удерживаясь за дерево тонкими цепкими пальцами. — Нельзя... Нехорошо. Как-никак больница, учреждение!

Замечая, что и гармонист, и больные прислу-

шиваются к его старческому брюзжанию, Пал Иваныч разрешающе поднимал руку и махал ею небрежно, будто шлепал кого-то по щеке:

— Ты играй, малый, играй. Это я так, по привычке замечание делаю. Это начальник во мне еще сидит... Был бы начальником, запретил бы несомненно. А теперича кто я такой?

И, ощупав свою впалую грудь, обвислую больничную пижаму, восклицал:

— Теперь я никто... Но я был наркомом! Поняли вы, кем я был?.. Наркомом!

Затихал, прикрывая в напряжении глаза, прижимался вспотевшим лбом к шероховатой коре дерева.

— А ты играй, малый, играй. Я разрешаю. Игру не может запретить никакое начальство, кроме Бога, которого трижды нет!

Он не объяснял, почему Бога нет, да еще трижды. Дескать, Его давно уже нет в разговорах людей, в мыслях и, главное, нет его в сердцах, отчего они делаются постепенно железными и звякают на ходу. Старику мерещилось, что сердце у него стало железным и хрустит всеми своими нечеловеческими шестеренками.

Гармонист, не умея говорить из-за горловой смертельной болезни, кивал головой: слышу, мол, тебя, дедушка, понимаю что к чему.

## «АГЛИЦКИЙ» ПРИБОР В ГРУДИ

Металлическое сердце было навязчивой идеей Пал Иваныча. Он был уверен, что с таким переродившимся сердцем не умрет во веки веков. Он рассуждал об этом часами с крикливой, отчаянной и гневной уверенностью человека, уцелевшего после этой страшной девяностолетней жизни.

«Что болит, дед?» — на вопрос врача Пал Иваныч ни разу толком не ответил. Мялся, бурчал чего-то, потирая то бок, то шею, а то вдруг резво вскакивал с постели, заявляя, что он здоров как бык.

Ветеран неуклюже, не расстегивая, стаскивал через голову пижаму, чтобы показаться доктору, и всем была видна пятиконечная звезда — след пытки мамонтовцев. Коричневым пятном она выделялась на его безволосой, в белых морщинах груди, — звезда неправильной формы, с фиолетовым оттенком, наподобие тех, которые от не-

чего делать рисуют на обложках тетрадок школьников. Палачи на допросе вырезали эту звездочку, выдрали ее с кожей. Но молодой красный командир так и не выдал число бойцов его отряда и количество пулеметов. Он из принципа даже не пытался соврать, полагая, что большевик не только обязан говорить правду, одну только правду, но и способен вынести любую пытку.

Еще и кровоточащая звезда на груди не подсохла, пузырилась кровью и слизью, а его уже волокли во двор расстреливать, оскользясь на загаженном снегу и громко матерясь. Было темно, солдаты едва держались на ногах от самогона. Они продырявили грудь командира в двух местах — остались и здесь синие бугристые ямки — и ушли. Очнувшись, Пал Иваныч уполз за плетень, а наутро его подобрали крестьяне.

Доктор выслушивал старика: «Дышите! Еще дышите! Сильнее дышите!» Старый активист старательно дышал, страшная звезда вспучивалась, шевелила своими кончиками, словно живая. В дверь заглядывали любопытные старушки — очень уж им было интересно взглянуть, что там такое повыврезано на этом зловерном старике, обзывающем их «буржуйками» и «оппортунистками».

— Что прилупились, глупые? — косил на них Пал Иваныч, дыша под докторской трубкой в полусогнутом положении. — Эта звезда геройская, страдальческая. Вот он я, товарищи! — Старик пытался привстать, а доктор мягко его удерживал. — Если хотите, потрогайте руками!..

И еще были две неровные линии, которыми звезда как бы перечеркивалась крест-накрест. Эти линии имели свое особое происхождение. В тридцать седьмом году следователь, пытавшийся заставить Пал Иваныча подписать протокол по делу «О контрреволюционной республике», выбил Пал Иванычу передние зубы, расплющил молотком ногти и сломал два ребра. В угаре опьянения и многочасового отупения от бесполезных и бессмысленных вопросов следователь схватил нож и перечеркнул на груди Пал Иваныча звездочку, выкрикивая: «Ты не большевик и не нарком! Ты мразь и дерьмо!» Он привязал Пал Иваныча к стулу и помочился на лицо, норовя попасть струей в глаза.

Ветеран, вспоминая этот эпизод, брезгливо фыркнул и с улыбкой припоминал, что следова-

тельская моча припахивала ликером. С тех пор старик брезговал пить красное вино, потребляя одну лишь чистую водку.

Всегда и везде, в тюрьме и в Чадлаге, Пал Иваныч ходил с гордо поднятой головой, за что неоднократно был бит охранниками и уголовниками, чудом уцелев в этой молотилке.

— Вот он я, ребята! — размахивал он тощими руками. — Я всех обманул, я живой!

Пал Иваныч с удовольствием вспоминал, как в 1918 году был членом правительства. Но не того, большого, которое сидело в Кремле. Это была маленькая республика, затерянная в глубинах Черноземья. Пал Иваныч в той республике имел должность наркома внутренних дел. Лично приговаривал саботажников к расстрелу и часто за неимением свободных рук приводил приговоры в исполнение.

— Врешь ты все, дед... — качали головой мужики.

— Истину говорю! — ветеран сердчал, ругался и готов был даже перекреститься, лишь бы ему поверили.

Республика состояла из поселка и шести деревень, соединенных телефонными проводами, развешанными по плетням и низким лозинкам.

С нежностью вспоминал Пал Иваныч свой громадный наркомовский стол, едва уместившийся в небольшой комнате, старинный голландский сейф, до отказа набитый собственными дензнаками. Пал Иваныч иногда засыпал, как и положено утомившемуся большевику, прямо за столом, и вся революция снилась ему в виде муравьев, беспорядочной толпой пересекających пространство казенного стола.

«Республика», «нарком» — он произносил эти слова задумчиво, втягивая, вторя каждому слову трясушейся головой. Его старческая, не закрытая после ухода врача грудь с дряблой и синей, мешочком кожи свесившейся звездой тряслась от приступа кашля. Он распрямлялся, и звезда тоже словно бы увеличивалась, блестела глянецом давней раны. Взгляд старого активиста делался до жуткости остановившимся.

— К стенке предателей! Долой контру! — кричал он, и желтая пена обметывала тонкие, почерневшие от натуги губы.

И требовал у меня лист бумаги: ему срочно требовалось записать вспомнившиеся имена врагов советской власти.

Приходила пожилая медсестра со шприцем в руке:

— Давай-ка, дедуля... — Она хватала тощую, похожую на палку руку, быстро делала укол.

Пал Иваныч, бурча, заваливался на постель, засыпал с открытым безжизненным ртом.

## ВСТРЕТИЛИСЬ БУДТО ЧУЖИЕ

Меня навестил Лева — товарищ по работе приехал на мотоцикле. Я, не выходя из палаты, по звуку мотора догадался, что это подъехал именно он. И вот он стоял передо мной, с жалостью поглядывая на меня и на все вокруг. Всегда было в нем это внешнее высокомерие. И еще меня удивляла его способность всегда гордиться своей, в общем-то не очень уважаемой, профессией — районный газетчик. Однако это выражение гордости не сходило у него с лица даже в пьяном сне.

Нервный, в лоснящемся костюмчике, как всегда при галстукке — этой обязательной принадлежности районного служащего. Галстук здорово потерялся посередине — мой коллега любил приваливаться грудью к столу. Это была его любимая поза: золотая капроновая мишура вылезала из протертого посередине галстука, лохматилась, будто соломка. На лацканах пиджака сверкали разнообразные значки — давняя его слабость ко всяческим медалькам, продающимся в киосках.

Иногда он критиковал начальство — устно, а если позволяли, то и в газете. За это его прозвали модным в то время словечком «диссидент». Да и многие образованные люди похаживали в то время с фигами в кармане. Это прозвище укрепилось за ним еще и после небольшой статьи в газете, когда он покритиковал в маленькой статейке местного инспектора БХСС — тому в местной столовой налили по благу стакан сметаны, а для других посетителей такого продукта не было и в помине — дефицит! И хотя инспектор выпил свою порцию тайком, отвернувшись к стенке, словно водку, Лева подметил этот факт и настроил соответствующий фельетон.

Волосы на лысеющей Левиной голове торчали в разные стороны пучками, точно у гения, и взгляд был дикий, жгучий, как всегда. Но в райцентре все давно уже знали, что этот человек,

Шекспир районного масштаба, певец надоев и привесов, слагатель гимнов искусственному осеменению, давно уже исписался, а по утрам положит рот одеколоном, чтобы не разлило перегаром в момент встреч с начальством, а также во время интервью с трудящимися.

А тему искусственного осеменения Лева разлюбил после того случая, как однажды его чуть не забодал колхозный Михайло Пипеткович — огромный бык, про которого журналист решил написать очерк. Слава богу, скотники отбили, а то бы конец пришел журналисту. Лева долго после удивлялся, почему животное, зачатое искусственным способом, обладает столь диким нравом...

Он стоял на широкой больничной террасе и глядел на меня, говорил о скучных газетных новостях, постукивая по колену облезлым мотоциклетным шлемом цвета заплесневелой хлебной буханки. Он сказал, что не может долго со мной разговаривать, потому что спешит на районное совещание работников культуры. Вид у него был заранее усталый и равнодушный, словно у старой загнанной лошади, которую еще не запрягли, но уже попоили перед дальней дорогой.

Я почему-то не мог глядеть в его сверкающие гениальные глаза и разглядывал царапины на шлеме, каждая из которых могла рассказать о многом.

## АПРЕЛЬСКИЙ ПИКНИК

Например, минувшей весной он познакомился с одной приезжей девицей, пухлой веселой особой лет тридцати. Однажды поехали мы вдвоем на его мотоцикле в ближний лесок — цветов нарвать, на природу полюбоваться, а чтобы не скучно было, прихватили с собой три бутылки водки и кое-что закусить. Выпили почти всё, и тут вдруг начался дождик — пришлось срочно собираться домой.

Эта самая молодая бабенка сидела в коляске, а имя ее мы все время с Левою поочередно забывали — то ли Валя, то ли Рая. Она же охотно отзывалась на любое из этих имен.

Лев был сильно пьян, однако вел мотоцикл вполне сносно. И хотя глаза его периодически закрывались сами собой, а голова падала на



грудь, он усилием воли вскидывал ее в прежнее водительское положение, бросал взгляд на ближайший участок дороги, и снова веки его на миг закрывались. Ветки придорожных деревьев хлестали его по мокрому шлему. От дождя наши лица стали влажными, а лицо девушки прямо-таки серебрилось от воды, она мне все больше нравилась, даже хотелось ее поцеловать.

Лева яростно крутил рукоять газа, со скрежетом переключал скорости. Мотоцикл елозил по сальной дороге, становясь временами поперек ее, иногда останавливался, ревя мотором, затем Лева выворачивал руль на дорогу.

А потом мотоцикл и вовсе заглох, Лева мгновенно заснул за рулем, навалившись грудью на теплый вонючий бензобак.

Тогда эта девица в возрасте и с несколькими именами, Галя или Рая, привстала в коляске и, дотянувшись до меня, обняла и жадно поцеловала. Я неожиданно обнял ее промокшую кофту, ощутив под ней тепло ее мягкой груди. Мы стали долго и протяжно целоваться. Губы у нее были влажные от дождя, и она обнимала меня за шею...

— Отведи меня куда-нибудь, — просила она.

— А Лева? Я не могу бросить его здесь, под дождем...

Мы продолжали целоваться, потом она растегнула кофту:

— Иди ко мне...

Спустя полчаса, до нитки промокшие, погасившие любовную горячку, мы перенесли Леву в коляску мотоцикла, а я сел за руль, потолкал усталой и все еще пьяной ногой стартер — мотоцикл завелся.

Я вел мотоцикл как попало — он гудел, ревел, словно бы злился, что им управляет чужой человек. Я с разгону въезжал в лужи, окутывая себя и свою подругу фонтаном брызг, и она тихонько взвизгивала, продолжая обнимать меня сзади. Она всей своей мягкой большой грудью прижималась к моей мокрой спине, целовала в шею, мешая вести мотоцикл по сверкающей колее.

От мотора и глушителя поднимались клубы серебристого, окутывающего нас пара, мотоцикл все время норовил развернуться в обратную сторону.

Газа я давал изрядно, и мотор не щадил. Надо было постоянно менять газ, иначе заднее колесо пробуксовывало на размокшей дороге.

Бензиновый, не до конца перегоревший дым, смешанный с горечью машинного масла, обволакивал нас густыми клубами. Девица чихала, ласково обнимала меня, целовала в затылок и шею, словно хотела продолжить пикник, не обращая внимания на погоду.

Из глушителя летели искры, а когда въезжали на пригорки, мотоцикл тряся, как шенящаяся сука, норовя увязнуть в раскисшей обочине. Грязь летела из-под колес жидким веером, прилипала к лицу мокрыми точками, быстро высыхала, обдуваемая встречным ветром, отваливалась от кожи сухими песчинками.

Мотор через штанины обжигал ноги, жара от него поднималась такая, что волнообразная теплынь словно бы приподымала и качала меня над сиденьем.

Потом я высадил ее в райцентре, она дала мне телефон своей подруги, чтобы я завтра позвонил ей... Она была уверена, что мы с ней будем встречаться и дальше, даже заставила меня подтвердить это.

Не то Галя, не то Рая напоследок меня поцеловала и чуть не задохнула этим долгим искренним поцелуем. С виду не очень яркая девушка и даже чем-то отвратная, но сколько в ней энергии и какой-то универсальной женской доброты и ласки! И уже в последнем ее поцелуе почувствовалось нечто прохладное, прощальное, почти деловое.

Затем она сказала, кивнув на спящего Леву, что я вожу мотоцикл не хуже его.

— Нет, он все равно лучше... — сказал я. — Да и что ты вообще знаешь о нем? — Мне было почему-то стыдно смотреть ей в глаза, блестящие под светом уличного фонаря, я с нетерпением дожидался, когда она наконец уйдет.

Но все равно надо было ждать — не мог я после всего случившегося просто прогнать ее...

«Что ты знаешь о нем?..» — этот вопрос я задавал уже себе, привставая на подножке и резко толкая ногой стартер.

Мотор дисциплинированно завелся, но заработал как-то нервно под моей чужой рукой, словно не хотел признавать моей временной власти. Чтобы досадить ему, еще раза два газанул, не трогаясь с места, на полную катушку.

Мне показалось, что она, Рая или Галя, оглянулась, белея лицом, как мотор — цилиндрами.

— Как тебя зовут? — крикнул я ей вслед.

— Георгия! — ответила она, обернувшись с улыбкой, лицо ее было все еще белое и круглое, но уже с неразличимыми чертами.

— Как? — удивился я. Таких имен я сроду не слыхивал.

— Ге-ор-гия! — прокричала она по складам, прислонив рупором ко рту покрасневшие от холода ладони. — Можешь звать меня просто Жорик!..

— Ладно, Жорик, пока! Спасибо за совместный проведенный вечер!..

Она на сей раз ничего не сказала, лишь кивнула и окончательно растворилась во тьме.

Я снова дал газ, и опять цилиндры мотоцикла жалобно зазвенели от напряжения, что-то в них покнуло, из глушителя комками сыпанули на мокрую траву искры. Лева всегда очень заботился о своем мотоцикле, постоянно возился с ним, что-то подлаживал, подвинчивал, регулировал и смазывал. Он не позволял никому ездить на нем, даже мне руль не доверял... Я погазовал еще вдоволь, словно мучил не железяку, но живое существо.

Мотор теперь уже выл, стонал и просил пощады. Затем я пожалел мотоцикл и сбросил газ, ведь мы с ним все-таки чем-то похожи... Он — машина железная, я — газетная, пишущая.

На душе было плохо, и каждодневная пьянка после рабочего дня уже не помогала. Я понял, что я впадаю в какую-то странную депрессию, вызванную то ли ощущением провинциализма, то ли тяжелой газетной поденщиной, когда очерки и статьи приходилось сочинять даже по выходным. Нельзя найти «творческое в нетворческом», как говаривал Лева. Я вдруг понял, почему именно в такие глухие ночи люди убивают сами себя. Я чувствовал, что простыл и начинаю заболеть. Мне уже ничего не хотелось. Я машинально крутил рукоять газа, переключал скорости и следил за кромкой дороги, чтобы не слететь на обочину.

Высокие партначальники когда-то соврали про коммунизм, но я их не осуждаю, но я сам-то, сам... Я уже не вспоминал о коммунизме как о некоем смысле, очищающем душу и возвышающем достоинство человека, и вечерами напивался слевой так, что трудно было дышать из-за перегруженного алкоголем желудка... Но я еще был молод, здоров, и алкоголь не мог справиться со мной и окончательно

свалить на обочину двадцатидвухлетнего парня, кровь которого переполнена не только алкоголем, но и некоей возвышенной мечтой, позволяющей все же ему держаться на ногах.

Водка, выпитая в лесу, покачивалась в желудке остаточной разложившейся тяжестью, подплескивая к горлу, горча язык и десны ослабленной теплой кислинкой. До прихода коммунизма оставалось ждать семь лет, но я его теперь уже не ждал. Потому что во мне самом уже почти не осталось ничего такого, что позволяло бы надеяться на лучшее и высокое в жизни.

В палисадниках слышались капли, падающие с крыш в кадки, на деревянные ступени крылечек. Мне казалось, что надо мной, над человеком, так и не преобразившимся к лучшему, человеком неосуществившимся и недостойным мира сего, смеется, а может быть, и плачет весь поселок. Мне стало стыдно, что я, газетчик и нестарый еще человек, так вдруг сильно упал духом, что ничем не могу успокоить своих земляков, потому что для их успокоения мне тоже пришлось бы соврать — и я врал регулярно на страницах своей районной газеты. Но даже если бы разрешили говорить правду, мне нечего было бы им сказать. Я не знал никакой правды, совсем ничего не знал.

— Ничего не знаю! — закричал я на всю улицу, и голос мой сбился на неясный мальчишеский тенорок. — Я ничего не знаю!

Голос мой эхом прокатился под кронами мокрых деревьев в парке, мимо которого мы проезжали. Лева застонал, заворочался в коляске, заскрипел зубами. Лицо его с закрытыми глазами казалось мертвым и страшным.

Я ехал по безлюдным переулкам, держа курс на главную улицу райцентра. Мотоцикл качался в наполненных водой колдобинах, словно лодка, плюхая днищем коляски по лужам. Фара высвечивала заборы, сараи, седой прошлогодний бурьян.

И вот она — главная улица, ровный асфальт, широкий провинциальный Бродвей! Я прибавил скорость. Волосы мои, забитые дорожной грязью, загладились ветром, подсохли земляной коркой. При боковом ветре чуб заламывался ломтем — корка хлопала меня то по щеке, то по уху.

Полуночная морось, собираясь на лице жирной влагой, капельками стекала по щекам, как

по стеклу. Мотор умиротворенно лепетал на малых оборотах, колеса радовались асфальту, заполненному по всей своей ширине тонким слоем зеркально разлившейся влаги. Грязца с треском лопалась, сматывалась покрывками, словно резиновая пленка, густая маслянистая влага с журчаньем крутилась в ободьях.

Медлительно уползали назад темные дома с желтыми окнами, деревья и столбы, стоявшие вдоль дороги, казались еще чернее, будто их помазали сажей.

## ПРОЩАНИЕ ПОД ДОЖДЕМ

**К**огда я подвез Леву к дому, где он жил с дочерью и маленьким сынишкой, он уже успел очухаться.

Вылез из люльки, с трудом узнавая свой мотоцикл и меня, пошатывался.

Я терпеливо стоял напротив него под дождем. Минимальная вежливость требовала минимального ритуала прощания.

— А где эта?.. — спросил он.

— Вышла возле почты.

Он понимающе кивнул.

— Ты знаешь, как ее зовут? — спросил я у него.

— Валя... — растерянно ответил он.

— Нет. Не Валя, ее зовут Жорик — Георгия!

Он махнул рукой: дескать, какая разница...

Дождь немного потишел, но стал еще холоднее. Возле дома, под деревьями, было тихо, лишь в раскаленном моторе что-то занудно сипело.

Я думал о Леве, с трудом различая в сумерках его фигуру. Он не только лучше меня водил мотоцикл — он еще умел, несмотря на малый рост и некрасивую внешность, ладить с девицами, вроде этой, давно уже скрывшейся в темноте поселка, а уж по газетному делу ему вообще не было равных. С помощью своего любимого слова «мероприятие» с прибавлением некоторых цифр и выражений он один мог заполнить всю газету. Но некая ушербинка в этом хорошем парне все-таки была — что-то вроде затаенной злости, надорванности, словно все свои лучшие эмоции, всю свою силу и оптимизм выплескивал в бесконечные газетные строчки.

Мотоцикл надо было загнать во двор. Я помог Леве открыть деревянную створку ворот, мы, не заводя мотор, затолкали мотоцикл во

двор, где Лева накрыл его обрывком брезента, валявшимся на земле.

Опять, наверное, Лева придется ночевать в гараже, потому что ревнивая жена Анечка не пускает его в дом позже восьми часов вечера. А сейчас, наверное, уже полночь.

Иногда Лева ночевал у меня, но чаще — у старого большевика Пал Иваныча, который забавлял его историями из революционного прошлого. Пока было тепло и спать можно было в гараже, сложенном из кирпича, на широкой деревянной лавке, смахнув с нее инструменты, запчасти, банки с маслом, затем он укроется грудой старых одеял и телогреек с клоками торчащей из них ваты.

## БЫЛА У НАС ВОЖАТАЯ...

**А**в тот день, в больнице, я долгим взглядом смотрел на Леву, и мне почему-то вспоминалась моя наивная подростковая мечта о коммунизме, в который я тогда крепко верил. И не потому, что находился в то время еще в пионерском возрасте, просто невозможно было в это не поверить, в такое близкое — как в собственную юность! В себя тогдашнего самого, тогда еще достойного любой, даже самой смелой, мечты.

И сейчас все еще что-то шевелится в моей глубине: наивное, детское, непоколебимое. Потому что всегда трудно разглядеть собственную подлость, потому что поверил еще с того дня, когда красивая пионервожатая привела нас в ленинскую комнату и по-простому рассказала взволнованным голосом — не строя в шеренгу, не упоминая ни номера очередного партсъезда, ни имен вождей. Мечтательная лирическая девушка, она как-то сумела убедить нас в прекрасном будущем, хотя у самой у нее судьба впоследствии сложилась трагически... Большинство наших мальчишек было влюблено в нее, но в тот день, отвернувшись от стендов с цифрами достижений и планов пятилеток, она тихо проговорила, глядя поверх наших стриженных голов: «Это обязательно наступит!..»

Единственный в моей жизни урок, после которого я возвращался домой легким крылатым шагом, будто летел над выщербленной пешеходной дорожкой! Я торопился сообщить дедушке и бабушке, отцу и матери о том, что я узнал сегодня:

мир переменится! И мы все будем счастливы! Всего лишь два предложения — больше ничего.

Звуки гармонии, доносившиеся с соседней улицы, лишь усиливали мое праздничное настроение. Я никогда, никогда не буду разочарован в этих словах самой прекрасной девушки нашего поселка, гордости школы, которая погибнет впоследствии от побоев пьяного мужа...

Я сразу не поверил этому известию, когда она вышла замуж. Этот факт я пережил с огорчением, но, когда пришла весть о ее смерти, замутненная стаканом портвейна «777», я не поверил, что мир, окружающий меня, может так сразу и грубо сломаться. Она не могла умереть, не имела права этого делать, потому что по ней — отдаленной, давно забывшей и меня, и наш пионерский класс, я ориентировал сивое, нарастающее в ожидании коммунизма счастье.

...Наша больничная встреча слевой завершилась холодно. Газетные мысли омрачили его круглое, вечно озабоченное лицо. Мы стояли друг против друга как чужие. Он сказал, что я в своей полосатой пижаме смахиваю на узника концлагеря.

Поговорив о пустяках, распрощались. Я проводил его до ворот. Мотоцикл «Урал» сердито косил на меня фарой, словно узнавал своего давнего мучителя. Лева толкнул ногой стартер — дрессированный мотор отозвался гневным рыком.

— Я в любой момент заберу тебя отсюда! — крикнул он, застегивая ремешок шлема под плохо выбритым подбородком. — Мы с тобой еще помутим воду!

Он погрозил кулаком в пространство, выжал сцепление. В этот момент в Лева уже не было никакой самостоятельности, глаза его бесцветно и бессмысленно глядели в сторону райцентра, куда он спешил на очередное мероприятие. Мотоцикл рванул с места, исчез за густой летней зеленью, но лепет мотора еще минуты две слышался за лесополосой на повороте большака.

## УТРЕННИЙ СЕЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ

Однажды летним утром я сошел по ступенькам вагона на перрон нашей маленькой станции, с трудом волоча большой чемодан, набитый техническими книгами.

Состав вагонов по инерции звякнул, и звук этот разнесся над сонным поселком. Первые лучи солнца коснулись верхушек столетних тополей, позолотили ржавую крышу водокачки, и словно бы загорелся искрящийся, оплавленный молниями штырь громоотвода.

Рассвет был летний, прохладный, но присутствовала вокруг какая-то серая облачность, дымчатость, как признак несчастья — долгой и нудной, из которой трудно вырваться. Какое-то идиотское предперестроечное настроение, будто начинающая болезнь мира начиналась именно во мне, внутри меня и в усталом болезненном сердце.

Однако настроение мое было хорошим. Я, сельский паренек, стал студентом московского института. Пусть заочник, но все-таки студент! Жаль, что дедушка и бабушка не дожили до этого дня.

— Зачем ты поступаешь в технический вуз? — удивлялся Лева. — Давай к нам в Воронеж, на журфак!..

Пал Иваныч также не одобрял моих технических устремлений. И хотя в Москве нет вузов, в которых учат на «революционеров», можно самостоятельно осваивать пролетарскую науку по книгам Маркса, Бакунина, Отчаева — местного уроженца, который умер в прошлом веке и был патологически болен идеей «перманентного российского бунта».

Я был радостно-задумчив. В яркости восхода мне мерещилась оставшаяся позади Москва. Я ощущал ее через прохладу пиджака, прилегающего к спине.

Гудел, бумкал на холостых оборотах отдыхающий дизель тепловоза. Я брел вдоль запыленных вагонов и неожиданно увидел гармониста, сидящего на опрокинутом фруктовом ящике с гармонью в руках. Наверное, возвращался с какой-нибудь гулянки. Человек он был странный и молчаливый, но в игре ему не было равных. Многие завидовали одинокому музыканту, в том числе и Лева, тоже считавшийся неплохим гармонистом. Наш разносторонне одаренный коллега тоже гордился тем, что его изредка приглашают на мероприятия. Играл Лева чисто, звонко, без ошибок. Репертуар любой: и плясовые, и «матаня», и страдания. Все было в его игре четко, прозрачно и в то же время чего-то не хватало. Недос-



тавало прежде всего интонаций, музыкальных глубин, затаенного надрыва, ощущения бесконечности и тайны самой жизни, которая есть в игре настоящего музыканта.

Кстати, и гармошки у них были разные: у Левы — обыкновенная, фабричная, с пластмассовыми кнопками, у гармониста — елецкая рояльная, с полустертými деревянными клавишами. Такие гармошки и поныне делают по особому заказу редкие мастера из глубинки, помнящие до тонкостей старинное ремесло.

Гармонист жил совершенно одиноким. Гармошка заменяла ему женщину. Она и припахла всегда какими-то нежными свадебными запахами, эта постаревшая, но вечно молодящаяся сельская кокотка.

Сам Лева тоже называл гармониста «настоящим», но в чем состоит эта «настоящность», объяснить не умел. Способность посредством народных мелодий передавать затаенное чувство человека? Чтобы получалась «нябесная», по выражению старушек, музыка? Вечно полупьяный, заторможенный с виду человек, поработавший на своем веку и трактористом, и пастухом, и плотником, резко рвал меха. Пальцы, скрюченные от разнообразных трудов (лодырем он никогда не был, хотя и работник такой, которого каждый день приходят отпрашивать на гулянки и прочие подобные «мероприятия», вызывает рано или поздно раздражение у самого покладистого начальника), бегали по глади скругленных клавиш, словно бы сами знали, на какую из них надо нажать. И гармошка, чувствуя руки хозяина, гуркала, как голубица, вздыхала и стонала женскими голосами, заставляла гостей вздрагивать при каждом своем музыкальном вскрике-призыве. А когда гармошка молчала, вздыхая мехами, то в груди ее, казалось, рождается новое завтрашнее будущее, о котором она знает, но не в силах поведать обыкновенными словами. Когда же гармонист напивался «до отруба» и сидел на лавке, привалившись спиной к стене с закрытыми глазами, — лишь руки продолжали играть! — гармошка принималась капризничать, не подчиняясь вялым нажимающим пальцам и истомленному, истрепанному в свадьбах сердцу музыканта. Гармошка, словно бы сама по себе, выдавала сбивчивый перебор голосов, похожих на затухающий вопль, пережим низких кла-

виш, завершавшийся переливчатым омертвелым хрипом.

«Я не умею играть как настоящий гармонист! — восклицал Лева по пьянке. Горечь звучала в его выкрике, но одновременно и торжество. — И все-таки быть таким, как ваш гармонист, не хочу!»

...В то яркое утро одного из лучших дней моей жизни, держа в оттянутой руке тяжеленный чемодан с учебниками, я остановился напротив гармониста, наигрывающего тихие, почти неслышные переборы. Темнело костистое худое лицо, белесый редкий чубчик серебрился от первых лучей солнца, глаза выпукло круглились и сияли — он сам для себя играл! С ним такое частенько случалось. Не в силах дойти до дома, он иногда спал под забором или в придорожных лопухах и, очнувшись поутру, первым делом начинал играть, независимо от того, было у него чем опохмелиться или нет. Когда он уходил со свадьбы, ему обычно давали с собой бутылку водки или самогонки. Вот и сейчас возле его ног, обутых в грубые ботинки с потрескавшимися носами и металлически поблескивающими заклепками, на влажном от росы асфальте стояла едва початая бутылка водки, свешивался клочок отлепившейся этикетки.

Гармонист заиграл громче, словно только и дожидался того момента, чтобы сыграть приветствие единственному пассажиру, сошедшему с утреннего поезда, — мне. Деревянные клавиши отзывались на каждое прикосновение пальцев музыканта, гармошка пела по-утреннему резко. Она то тихо стонала, то глухо и торжественно подвывала, словно тоже недавно проснулась и все никак не могла перебороть хриплость своих голосов, натужно опорожня меховое нутро свое мелодичным звуковым прохарком.

На станции ни ветерка — сплошная тишина, если не считать редких железнодорожных звуков, заглушаемых негромкой гармонью. Дома меня ждала мать. Об этом я помнил, едва только поезд тронулся от московского перрона. И отец тоже меня ждал. Он сейчас, наверное, собирается на работу в колхозную мастерскую. Сестра жила в другом городе. А еще меня ждали друзья: Лева, Пал Иванович. Мне интересно узнать, какие новости случились в поселке, пока я сдавал экзамены.

Тополя стояли как влитые, возносясь непод-

вижными верхушками, горящими под солнцем. Однако небо все еще было темным, пепельного оттенка. Листва на деревьях отсвечивала стальным блеском и все еще хранила ночной холод.

Гармонист продолжал наигрывать, склонившись лицом к клавишам. Позади него растеклись веером стальные нити железнодорожных рельсов, горел вдалеке зеленый огонек semaфора. Тепловоз дал гудок, взревел дизелем, и состав покатил дальше. Над поселком и всей округой возвышалась угрюмая водонапорная башня, словно бы накренившаяся всей своей краснокирпичной массой, хмуро поглядывая вокруг пыльными стеклянными окошечками.

Я смотрел на нее и вспоминал о том, как мы слевой в юности лазили на эту башню. И кричали поочередно: «Слышишь меня, край?.. Родина — мы здесь!..» Но он нас тогда не услышал, как не слышит в данный момент пиликанье старинной гармонии.

Мне надо было переходить через пути, затем шагать по грунтовой дороге в райцентр.

Гармонист поднял голову, узнал меня и приветственно кивнул. Но игры не прекращал. Я был доволен тем, что он меня помнит. Ведь он частенько заходил в наш дом на стариковские посиделки. Гармошка словно бы тоже не могла перебороть утреннюю хриплость голосов и старалась как могла, многозначительно дышала своими кожаными мехами.

Я невольно замедлил шаг, поставил глухо тукнувший чемодан на асфальт, визгнули металлические хромированные уголки. Я вдруг подумал о том, в какую пропасть мне предстоит погрузиться — в высшее техническое образование! Может, правы и Лева, и Пал Иваныч — не мое это призвание?.. Но чемодан уже стоял на перроне всей своей судьбоносной глыбой, вся его мудреная книжная начинка словно бы уже заранее имела какую-то власть над моим сознанием.

Гармонь замолкла. Каркали проснувшиеся грачи, живущие на вершинах освещенных солнцем тополей.

Объявился пожилой железнодорожник с какой-то железякой в руках, и гармонист предложил ему выпить. А железнодорожник и так был уже выпивший, веселый. Приближаясь к гармонисту, он приплясывал на ходу. Форменная одежда его была мятая, в пятнах, зато на карту-

зе ярко блестела начищенная кокарда, сияли алюминиевые пуговицы с молоточками.

Гармонист и железнодорожник выпили. Мне тоже предложили, но я отказался. Мне и так было хорошо. В карманах моего пиджака лежали новенькие студенческий билет и зачетная книжка.

Гармошка, поставленная на асфальт, отдыхала, алые, словно бы кровавые в лучах рассвета меха ее, потертые на сгибах, медленно растягивались сами по себе.

«Страдани!.. Эх!..» — попросил железнодорожник гармониста. Тот вновь поднял гармонь, перекинул через плечо потертый ремень и без приладки заиграл страдание. Глаза гармониста как-то вмиг опустели, отрешаясь от солнечного утра, по скулам забегали напряженные желваки. На него постепенно находила тень водонапорной башни. Золото утреннего рассвета дробилось в листве пробуждающихся тополей, падало сверху, как вода, заполняя все вокруг быстрым теплом летнего начинающегося дня. Тусклые глаза гармониста прикрылись, будто сонные. Вот он сделал длинное вступление и запел мелодию старинного куплета всем своим вдруг искаженным угловатым лицом. У меня от такой игры озноб по коже пошел, а сам гармонист в этот момент казался мне инопланетянином. Кепку гармонист опять, наверное, где-то потерял, и жидкие волосы на его голове зашевелились на неожиданно объявившемся ветерке. В начинающемся дне лицо гармониста, поющего страдание, напоминало шевелящуюся печеную картофелину.

Железнодорожник подпевал ему тонким мяукающим голосом.

Солнце поднялось еще выше — верхушки станционных тополей будто огнем охватились.

Я начал переходить через рельсы, ощущая себя полустудентом, уже немного чужим для этих мест. Я чувствовал на расстоянии, что мать ждет меня у калитки. Я уходил все дальше от станции, но нескладная и завораживающая мелодия, исполняемая на два голоса, еще долго шла следом за мной по тихим переулкам райцентра.

## ДУХОТА

Гармонист пробовал играть в палате, осторожно прилаживался к гармошке, но Пал Иваныч приказывал прекратить — он не любил посторонних звуков. Старик уважал разговоры о политике и о революционном смысле жизни.

— Много всего поразрешали — любовь, музыка... — ворчал он. — Вроде мелочь, а человека забирает целиком, выщелкивает душу из общепролетарского дела.

Кричал чуть ли не целый день, рассуждая сам с собой, потому что никто не любил с ним связываться. Сапрон, правда, частенько одергивал его своей басовитой мощью.

Ночами ветеран вскрикивал во сне, ворочался: ему снились плоскогубцы. Просыпался затемно и опять разговаривал сам с собой, пытаюсь понять, в какой исторической точке высокий народный дух перешел в железную машину власти и какую ошибку совершил лично он, революционный аристократ духа. Иногда подходил к гармошке, стоявшей на тумбочке, ковырял пальцем сжатые меха, щелкал ногтем по клавишам — он смотрел на гармошку как на что-то живое и робел возле нее, словно ребенок, боящийся этого. Гармошка сама по себе олицетворяла для него народ, а народа в чистом виде, в любом отвлеченном образе бывший нарком побаивался. Для чего гармошка, зачем она, лишняя в устройстве всемирного разума? Бормотал, уходил на свою койку с неразрешившейся общей мыслью.

Часто принимался плакать после таких рассуждений. Однажды заявил, что мы должны почитать его как Иисуса Христа. Дескать, он, Пал Иваныч — дух Ленина и пророк его возрожденных идей. «Все во мне революционно высочайше!» — заявлял он, постукивая себя в грудь, гулкую в ночной палате. Далее он пытался доказать, что рабский труд, но во имя идеи, есть разжижение самой идеи: происходит уменьшение давления труда, стихание труда.

— Правильно балакаешь! — одобрял дядя Михай, страдающий бессонницей из-за переедания. — Покой — прежде всего. Когда человек спокоен, он любую идею разжует.

— Вот молодец, понимаешь! — радовался ветеран любому слушателю. — А всем прочим балбесам лишь бы не вникать — готовое хотят получить. А после оглядываются и спрашивают: где

же коммунизм? Да вы его зарыли, сволочи, он у вас между пальцами песком ушел.

Старик собирался удрать из больницы и пройти по всему району «живым образом современного Евангелия». Свой поход намеревался закончить требовательной проповедью: долой нахлебников и бюрократов. Вернуть звание комиссаров и большевиков всем лучшим людям!

Он где-то слышал, что крестоносцы, вооруженные идеей, дошли аж «до Ерусалима». А мы со своим ясным смыслом никак до социализма не дотопаем. Осталось время изничтожить как классового врага и считать его остановившимся, ежели оно навсегда скрывает от нас далекое будущее. Народ, собака, не желает ничего хорошего, его, народ, завсегда влечет к несчастью. Как бы ты, лучший среди него, ни вел его к новым истинным принципам, он все равно заведет и тебя и себя в гибель, в пропасть.

— Народ — штука упрямая, — вздыхал сочувственно дядя Михай. — Попробуй поборись с такой гущей самолюбия. Это же цемент. Пока не загустел, делай с ним что хошь, но ежели схватился — шабаш! — только кувалдой и расколешь.

Пал Иваныч подходил поближе к внимательному слушателю и развивал свою мысль о том, что врага надо победить сначала в мыслях, а после уж приступать к физической ликвидации. Жаль, что наши головотяпы наоборот делают: прикончат человека и рассматривают, каков из себя? Всякую твердость надо загнать в собственную душу и там переломать, перекрошить на кусочки.

Наговорившись, активист выпивал кружку остывшего чая, ложился и засыпал до самого обхода, пока не приходила ворчливая медсестра, раздающая градусники и таблетки.

## МЕЧТА О ВОДЕ

В полуденную жару в палате было всегда душно. Дядя Михай не один раз высказывал желание сбежать на пруд и выкупаться вдоволь всей компанией. Толстый, обрюзгший, он лежал на постели в одних кальсонах, сосал диабетический леденец, блаженно попыхивал, словно погружался в воду.

Он любил вспоминать, как мальчиком, изнывая от жары, брёл от тени к тени, от дерева

к дереву, через переезд, возле которого шипел жуткий черный паровоз, казавшийся горячее самого солнца.

Теплая прудовая вода, пахнувшая коровьим пометом, глубинным запахом ила, взмученного копытами животных, казалась маленькому Михайке свободой, в которой ты висишь, почти лишенный тяжести, и благодать обнимает тебя до самого горла.

Плескаешься, ухаешь, хлюпаешь, не заходя на глубину. Туда нельзя — там тьма, страх. Пруд воронкой уходит из-под ног, устремленный всем своим холодом в глубину земли, прямо в ад. Вокруг тебя — влажный прудовой воздух, ты чувствуешь неясность, облегченность своего тела, которое будто растворилось в воде, сделалось наполовину неощутимым, словно бы растекающимся во все стороны вместе с водяными завихрениями; вода сглаживает твои резкие движения, переводит их в плавность, в размеренность, в ритм всеобщей природной жизни; в воде ты отчетливый для Бога, как если бы он и в самом деле видел тебя краешком глаза.

О воде и связанной с нею божьей благодати дядя Михай мог проповедовать часами. Он чуть ли не молился на эту воображаемую прудовую воду, и от его речей очень хотелось поскорее побежать, словно мальчишка, на пруд, чтобы вволю наплаваться.

В конце концов мы всей палатой сбежали на пруд, до которого было примерно с километр, и находился он на другой стороне села.

Пал Иваныча пришлось поддерживать под руки — от жары старику становилось дурно.

«Вода и теплынь, вода и покой! Ничего другого лучшего для человека не придумано», — бормотал дядюшка. Лицо его было сияющим, словно он шел выполнять священный ритуал.

Когда пришли на берег, разделись и полезли в воду, дядя Михай на всякий случай привязался веревкой к стволу лозины: вдруг течение понесет на глубину! В пруду имеются нижние холодные слои, которые так и норовят оплести человеку ноги, свести их судорогой.

Гармонист зашел в воду по шею и стоял, дыша влажным простором, начинающимся возле его открытого рта, глядел на водомерок, скользящих по маслянистой сверкающей воде возле его глаз, отчего насекомые казались большими золотистыми парусниками — я тоже их видел такими.

— А не попадет ли нам за то, что без спросу ушли из больницы? — спохватился дядюшка, теребя намокшую веревку, привязанную к поясу.

— Можно, — ответил Сапрон, раздевшийся догола и похожий на статую молотобойца — огромный, белый, с несколькими военными шрамами на спине и руках. — Мертвецы ходят где попало, без всякого разрешения, а мы еще живые, у нас ум есть. Сейчас день, солнце стоит, идет наша жизнь!

Я помог Пал Иванычу раздеться. Он тоже был незагорелый и все же темный от старости — коричневым, сухой, похожий на замученного чернокожего невольника из африканского телерепортажа. Опираясь на костыль, он заходил в воду, ступая в ней ногами, как палками, словно они у него не гнулись, взмучивая при каждом шаге шарообразно донный вспучивающийся ил. Глянцевые теплые листья лозин щекотали его узкие плечи, он рычал, сбивал листья палкой. Развевались пряди белого пуха на затылке. От тонкого кривого костыля ил расходился еще гуще, чем от ног.

Одной рукой ветеран опирался на костыль, другой отгонял перламутровую бесшумную стрекозу. Тело старика судорожно вздрагивало от прудового холода, кольцами идущего снизу. Колени его скрылись, он ступал ногами твердо, уверенно. Отшвырнув костыль на траву, бросился вперед и поплыл, ругаясь и проклиная кого-то.

— Утопня! — воскликнул дядя Михай, испуганно округлил глаза. — Пльви за ним... Утопня!..

Я поплыл, но Пал Иваныч, обернув лысую, обтянутую черной кожей, глянцевую в воде голову, крикнул:

— Отставить преследование — нарком плывет!

— Ни хрена ему не делается, — глядел вслед старику Сапрон. — Железный старик, вечный!

Лицо ветерана, улегшегося на спину посреди пруда, было похоже на маленькую корягу. Вспомнилось его изречение о том, что мир состоит из двух частей. Одна часть — бездумное революционное сердце, вторая — все остальное.

Мы залезли в воду и стали купаться, плавали и ныряли. Сапрон, набрав полные легкие воздуха, на спор донырнул до середины пруда. И опять дядюшка боялся, что наш разведчик утонет.

Устали, сели на мелкое дно и сидели просто так, глубоко и вольно дышали.

Пал Иваныч, медленно и плавно взмахивая ру-



ками, плыл на спине в полуденном мареве пруда. Неожиданно повернувшись, усталился на нас.

— Христиански млеете? — завопил он. — А ну, прекратить купание! На берег марш-марш!

С криками и руганью подбегала с холма к пруду толстая санитарка Матрена. Она кричала, грозила досрочной выпиской, а мы торопливо выбирались на берег, стесняясь своей наготы, которой Матрена словно и не замечала. Один лишь дядя Михай купался в кальсонах, опасаясь злой рыбы, которая собиралась укусить его за кое-какую «остаточную штуковину».

Мы уже одевались, а ветеран все еще продолжал плавать, ярко блестя мокрой головой и глазами, не обращая внимания на вопли и угрозы Матрены. Вот он медленно подплыл к берегу, фыркая зелеными фонтанчиками, встал на ноги, оскользаясь по дну, и, судя по всему, чувствовал себя бодро.

Матрена отпрянула: заляпаный илом старик был похож на водяное чудовище.

— Вот дураки! — взревела она и огрела пухлой ладонью безответного дядю Михая. Он вздрогнул, сморщился, как сжатый помидор, из глаз его мгновенно потекли мутные слезы. Он утробно всхлипнул.

— Ну, не плачь! — санитарка неуклюже поладила его по лысой голове. — Это я так, шуткую...

На обратном пути нас захватила гроза. Неожиданно наплывшие тучи низко повисли над лугом, напряжились синей тишиной, закружились ватными краями. Потянул ветерок, вихрясь пыльными ураганскими нитями. Духота пронзилась холодными струями, словно в кипятке бросили горсть снега.

Пошел град, усыпавший луг толстым белым слоем. Ноги скользили по нему, как по гороху. Плечи и руки одеревенели от непрерывных шелчков градин, ложбинка на спине сделалась ледяной.

Дядя Михай стонал от ужаса, крестился правой рукой.левой он придерживал над мокрой головой обломок шифера. От ударов близких молний, с шорохом уходящих в шевелящееся белое месиво, всех покачивало, обжигало горячим электрическим воздухом.

— Спасите! — завопила Матрена, падая от такой скользоты на колени, затем грузно на бок. Мы с Сапроном приподняли ее, потащили

вперед. Градины пищали у нас под ногами, как живые насекомые.

Пал Иваныч колотил палкой серую градовую стену, текущую с неба, бесконечно встающую перед ним, с хрустом проламывал ее, выкрикивая революционные лозунги.

— А не на запад ли мы движемся? — Старик на мгновение замер, беззубый рот его испуганно приоткрылся.

В небе стоял непрерывный грохот. Градины выскакивали из-под толстых волочащихся ног Матрены, выщелкивались, будто сверкающие подшипники.

Пахло электричеством и немного подгоревшим металлом, словно в небе дымилось железо. На оголившейся груди дяди Михая болтался на бечевке крест — мокрый и черный.

Гармонист брел сквозь мутную пелену града спокойно и неторопливо. Я понял, что мы заблудились в этих белых струящихся нитях, в этом грохоте и огромном расплзающемся непрерывно во все стороны шорохе.

Мы все шли и шли, ничего не видя вокруг, словно в пустыне. В который раз попался навстречу обломок телеги с одним колесом и ржавым ободом, смятая бочка с засохшими потеками извести.

Я потерял больничные растоптанные тапочки и шагал босиком. Ноги от холода стали красными, и я не мог глядеть на них без страха — казалось, на них выступила кровь.

Молнии величаво озаряли все вокруг, шипели, трепетали над белым полем, раскальвались в мелкие слепящие брызги. Зеленые и синие языки пламени бежали мимо, щекоча кожу, вздыбливая волосы теплой электрической силой; огненные ручейки утекали в низину, медленно волоклись, змеились над сплошным градовым полем.

— И природа, сволочь, обуржуазилась! — кричал неподалеку Пал Иваныч. — Видите, она вытворяет все, что ей вздумается. Вот до чего довела ваша перестройка.

Он едва не падал от усталости и часто отдыхал, опираясь вытянутыми руками на встречную, чуть наклонную градовую стену.

Но впереди серыми пятнами уже прояснились больничные кусты в палисаднике.

## ЛЮЦИЯ

Детей у Пал Иваныча не было. Уже в предпенсионном возрасте он сошелся с приезжей женщиной, а у нее была дочь-подросток. Звали ее странным именем – Люция. Явно не хватало приставки Рево...

Пал Иваныч ее удочерил, записал на свою фамилию и впоследствии, уже взрослую девушку, стукнул по голове книгой Маркса – эта девица, видите ли, надела модную в то время «буржуазную» шляпу.

Она после этого и разговаривать с ним не хотела. «Папой» она его никогда не называла, а после такой обиды и вовсе никак не звала, а попросту окликала: эй! Одно время к нему и прозвище в поселке такое прилепилось – Паша Эй.

После смерти матери приемная дочь Пал Иваныча укатила в город, вышла там вроде бы замуж, стала выпивать – вся, дескать, в мамашу! Так судачили наши деревенские сплетницы. Прошел слух, что ее зарезал ревнивый сожитель.

Однако спустя лет десять она вернулась в поселок: общаривала Пал Иванычев дом, продала все, что можно продать. Постаревшая, с лицом, похожим на бурюю маску, пьющая женщина.

Полуодичавшего, бредившего расстрелами и пытками Пал Иваныча она сдала в Пищиковскую больницу, предварительно выдрав у него с помощью монтерских плоскогубцев золотые зубы, которые отчим вставил себе после того, как добился персональной пенсии.

«Экспроприация экспроприаторов», – сказала вроде бы она, когда последний, окрашенный светлой десняной кровью золотой зуб исчез в кармане ее замызанной куртки.

Пал Иваныч терпел и не сопротивлялся, к тому же пьяная баба сильно треснула его по голове чумазой сковородкой – эту сковородку с отломленной чугунной ручкой он после показывал нам слевой, поражаясь женской силе и жадности.

## ДУМАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Пожилая медсестра споткнулась в коридоре, уронила коробочку с пробирками и анализами. Нагнулась, поохала, собрала их обратно.

Из одной пробирки пролилось на пол немного жидкости – врач зачем-то взял у Пал Иваныча пробу спинномозговой жидкости. На плохо выкрашенном полу со шляпками торчащих, до блеска стершихся гвоздей, образовалась маленькая лужица, будто ее котенок сделал.

Пункцию у старика брал сам Василь Васильич на предмет исследования «воспаления личности», как вздумалось ему пошутить.

Валяясь на постели и коротая послеобеденное время, я услышал вскрик, звук скольжения массивного тела, шлепок и удар грузной массы. Я встал, выглянул в коридор. На полу, поскользнувшись на мозговой жидкости, лежала, охая, Матрена. Она несла в женскую палату миску горячих щей для одной неходячей старушки и все их пролила, да еще и тарелку казенную разбила.

Санитарка заругалась, пожалуй, похлеще Сапрона, шваркнула в дверь обломком тарелки, зашвирили мелкие осколки.

Пал Иваныч, которому после пункции запрещено было вставать, вскочил с деревянного щита, на который его положили для распрямления проколотой спины, выбежал в коридор, накричал на глупую бабу, поскользнулся на собственном мозгу, смешанном теперь уже со щами, упал, завалась поперек Матрены, прокатился по ней, словно рубель по скалке.

Нянька сошвырнула его с себя, будто легкую жердь, и, прихрамывая, постанывая, отправилась за шваброй. Она долго еще ворчала, протирая пол, сгребала звякающие осколки. После уборки на полу остался влажный, пахнущий хлоркой след.

## ГОСТЬ С ПОБЛЕКШИМИ ГЛАЗАМИ

На следующий день к Пал Иванычу пришел его старинный полузабытый приятель, живущий в этом селе. Толклись в дверях два старика, вяло и быстро пожимали друг другу ладони, заглядывали в глаза с детским любопытством. Гость на вид был моложе, круглее, зато наш активист намного выше, к тому же нашего палатного вождя молодила зеленая пижама. Они стеснялись обняться, почужев друг другу за долгие ушедшие годы, обшупывали ладонями щеки, плечи, и все жесты были спокойные, терпеливые, без намека на ласку или сочувствие. Каж-

дый из них как бы удостоверился, что человек, стоящий перед ним, каким-то образом еще жив.

Местный гость принес Пал Иванычу гостиницу, развернул хрусткую серую бумагу:

— На-ка вот тебе...

— Что это? — воскликнул звонким дребезжащим голосом Пал Иваныч. — Мыло, да? Мыло?

— Нет, не мыло... — Старик-гость оказался почти совсем глухим, но хорошо понимал речь по губам. Он тряс головой, или она сама у него тряслась, тыкал пальцем в коричневый влажный комок. После каждого тычка на пол сыпались светлые крошки. — Это шарбет, в магазин нонеча привезли. Кушанье такое. И на самогонку также очень здорово гожается.

Пал Иваныч кивнул, положил щербет на свою тумбочку:

— Мыло нам годится, мы тут на пруд ходим купаться.

— Вкусный шарбет, хороший, — кивал улыбочиво старик-гость.

Они присели на кровать и принялись разговаривать, почти не понимая друг друга, потому как бывший нарком тоже был с глушью. Совсем глухой старик-гость смотрел на лицо Пал Иваныча внимательно, без отрыва, как на экран телевизора, присматриваясь к мельканию тонких злых губ.

Время от времени старик звал меня на помощь, и я писал на бумаге печатными буквами смысл их разговоров. Пока писал, оба терпеливо ждали, не глядя друг на друга, вздыхали, почесывались.

— Этого мужика я чуть не расстрелял когда-то, — сказал Пал Иваныч во время паузы. — Уже и приказ был подписан...

Как зовут гостя и за что он хотел его расстрелять, когда был наркомом, бывший командир начисто забыл. Но, видимо, повод был важный, потому что старик-гость до сих пор имел запуганный, приниженный вид. Он сидел на краешке Пал Иванычевой кровати с таким видом, словно в любой момент готов был брякнуться перед ним на колени. Оба со смехом вспоминали про какие-то два мешка денег, отпечатанных в республике. Старик-гость, бывший в ту пору казначеем, спрятал эти деньги от всякой контры у себя в сарае, а жена, решив, что в мешках сухие листья, вывалила их на подстилку свиньям.

Пал Иваныч удивился, когда я отломил от щербета кусочек и положил в рот — он решил, что я съел мыло.

Недорасстрелянный Пал Иванычем человек навестил его еще раза два, принес трехлитровую банку мутного, но крепкого самогона. Старик спрятал банку в тумбочку, стараясь никому ее не показывать — не положено выпивать в больничном заведении. Руки у него были неловкие, тряслись, и я приходил ему на помощь: отливал самогон вначале в кружку, затем — в пузатую толстостенную рюмку, похожую на лампадку. Старик подносил ее ко рту:

— Изыди, нечистый дух, останься чистый спирт да не пойдешь во вред младенцу Павелу! — дурашливо хихикал он, произнося над лампадкой шутиливую молитву. И высасывал, причмокивая, содержимое рюмки, словно малыш, выпивающий компот до дна, до малейших капель, скатывающихся по стеклу.

Выпьет, жажует припасенной коркой — и через минуту он уже красный, свирепый, грохочущий.

Меня он тоже угощал по старой дружбе.

— Тяпни, селькор, тебе можно. Ты слишком дальнее поколение, ты меня не осудишь. А другие могут и пальцем показать: вот, мол, большевик, а выпивает, как обыкновенный тип.

Несколько раз тайком от ветерана я давал самогонки гармонисту. Тот делал глотка два-три, благодарно кивал головой, розовел. Сердце у него принималось стучать так, что тряса воротничок пижамы. А выпить ему все равно хотелось, потому что и он был тоже здорово тронутый алкоголем, небось, через тысячу свадеб прошел. А уж гулянкам и посиделкам не было счета.

## БОЛЬНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Мы с Сапроном спилили по распоряжению Василь Василича клен под окном его кабинета — дерево закрывало обзор, не видно было, какое начальство едет из райцентра по дороге.

Спирт в его личных запасах кончился, и, чтобы угостить нас за работу, он принес охап-

ку пузырьков валерьянки. Пузырьки со стуком рассыпались по столу, словно шахматные фигуры. Мы свинтили пробки, наполнили до краев три стакана. Порожние пузырьки звякали, падали со стола, раскатываясь по углам кабинета.

— Пейте, ничего плохого не будет, — поднял свой стакан доктор.

— Да уж, какая тут плохота? — Сапрон крикнул и одним махом осушил граненый стакан.

Я отпил немного — валерьянка мне и без того надоела. Отдал свою порцию Сапрону, а тот разделил ее с Васильем Василичем.

Доктор наш быстро захмелел, принялся опять за высокие разговоры о земле, о России. Сообщил, между прочим, что нашел в церковном подвале могилу Даниила Заточника, но забыл закрыть подвал обратно на замок, и дошлые пионеры-следопыты растащили священные кости первого русского диссидента. Была там еще рукописная книга с полуистлевшими страницами. Приятель доктора, местный зоотехник, взял эту рукопись, чтобы отдать для перевода своей бабке, которая немного разбирала церковнославянский язык и наизусть читала акафист, но, провозив книгу под сиденьем машины дня три, забыл про нее и где-то потерял.

Василь Василич на досуге играл в ансамбле ложкарей, который он сам же организовал при местном клубе, вечерами выезжал на природу с друзьями или занимался резьбой по дереву. Все больничные окна были в резных наличниках. Странно смотрелись затейливые белокипенные узоры на фоне старых стен из красного кирпича.

Два деревянных идола, вытесанных из цельных бревен, с лицами хмурых бородатых стариков, стояли в больничном палисаднике возле стола, за которым мужики резались в домино или карты. Об этих идолах они гасили окурки, оставляя на лаковых бревнах серые и черные точки.

Несколько таких же идолов Василь Василич установил на берегу Красивой Мечи. Среди них особо тщательно были отделаны Перун и Дажь-бог. Хулиганы повалили их, написали на бревнах похабные слова, а Дажь-бога наполовину сожгли в костре. Оттого, грозил

пальцем знаток народных примет, и выдался нынешний год таким градовым и беспокойным — Дажь-бог дает отместку.

У Сапрона была странная болезнь: ему часто мерещились мертвецы. Почти каждую ночь он видел людей с черными лицами, столпившихся возле больничного окна и рвущихся в палату для прямой беседы с убившим их человеком. Он вскакивал, бросался к подоконнику, разбивал стекла. Завхоз Жора ворчал, но привез из райцентра целый ящик стекол, и Сапрон сам же вставлял их и выполнял другие ремонтные работы.

— Я вас всегда бил и буду бить! — ревел он на мертвецов жутким голосом, похожим на вой. — Зачем вы опять пришли ко мне? Ведь я уже победил вас на войне, чего же вы еще хотите?

По лицу его текли слезы, шлепали по доскам пола.

— Я всех вас убил — спереди всех, кое-кого по необходимости сзади. Что же мне теперь, снова убивать вас?

У него была недюжинная сила, однажды он вырвал одним движением толстую доску подоконника. Широкая застарелая доска с треском выломалась, хрустнула, раскололась надвое повдоль, выскочила пружинисто из-под рамы. Взметнулись фонтанчики красной кирпичной пыли и белой извести. Сапрон вытащил доску одной рукой, словно ребенок, доставший из стопки книг самую яркую.

В черной щели под окном что-то само собой потрескивало, ухало, попискивало. Оттуда летели клочья пуха, серой ваты, истлевшей, изгрызенной в мелкие кусочки бумаги. С писком сыпались во все стороны и разбегались кто куда полуголые мышата.

Гармонист поднялся с постели, положил на потный лоб бывшего фронтовика белую бескровную руку, и тот сразу успокоился, задышал ровнее — гармониста он узнавал даже в беспмятстве.

Спустя некоторое время Сапрон скрепил доску самодельными скобами и прочно вставил ее на место, промазав щели цементным раствором.

— Мышек напугал! — долго, до самой ночи грустил он. — Подумают, сволочь какая-нибудь напала, а я просто больной человек. Я



теперича куренка боюсь зарезать, через кошку переступаю, чтобы лапу невзначай не раздавить.

Великан, случилось, уходил повалиться в поле, на траву, катался там с шумом и фырканием, вроде лошади: такой же большой, грузный, шебуршливый. Навалявшись, отбив бока и нагрязнув рубаху, возвращался в больницу — вышла дурь! Умывался во дворе под рукойником, прибитым к черемухе, блаженно отфыркивался, обмывая расцарапанные белые плечи.

Сапрон на войне был разведчиком, но не любил вспоминать об этом, как я его ни упрощивал. Много приходилось убивать ему людей, которые прежде считались врагами, а теперь он позабыл их лица — приходили по ночам общей толпой и требовали от него разговора. Вот и разговаривает великан сам с собой, никому в палате спать не дает.

Дядя Михай над ним подшучивал:

— Вот, воюешь с мертвяками, идешь на них с голыми руками, а ты бы, Сапроша, с молитвочкой.

— Нет такой молитвы, чтобы мертвеца взяла, — отвечал серьезно бывший фронтовик, — тут надо быть начеку, иначе они весь белый свет изживут. Не верю я, мужики, ни в какие молитвы, ни во что не верю. Для меня жизнь совсем простой стала.

Однажды я почувствовал себя плохо: сердце заныло, застучало, зазвенело, словно кузнецик на лугу, отказываясь быть сильным. Так и затенькало, не оставляя надежды, и решил я, что умираю. Сказал об этом Сапрону, находившемуся в это время в палате.

— Сердце? Отчего оно остановится? — успокоил он меня. — Это, брат, такой комок, что ой-ей-ей сколько в нем силы!.. Я Бога не признаю, но Кто-то следит за этим комочком. Кто-то заставляет его сжиматься и разжиматься. Это уже под конец войны меня ослобонили из разведки, нервы мои стали дергаться. Иду по военной тьме и чую — смертная сила от меня расходится, как волны по пруду, даже комарики перестают в воздухе пищать, чуют, заразы, что на особое дело человек отправился...

С войны Сапрон вернулся в голодном сорок шестом году. Его вышел встречать отец. Он

даже не обнял сына, а первым делом спросил: нет ли чего поесть?

Солдат открыл мешок и подал отцу буханку хлеба. Тот молча принял хлеб и заплакал, обливая соленой влагой глянec подгорелой корки. Сапрон рассказывал, что в этот момент душу его будто ломом поддело: я пришел победителем, врагов поубивал без счета, а мой отец опух с голода. Где же справедливость?

Некоторые односельчане думали, что Сапрон прикидывается и убегает в больницу нарочно, чтобы к нему не приставало начальство, уговаривающее его перейти из пастухов в дояры-наставники.

Больница выписывала районную газету, и первым делом она попадала в мужскую палату. Начинался час чтения. Читали по очереди все, даже Сапрон.

Я узнавал руку Левы: в каждом абзаце чувствовалась безнадежная борьба со скукой животноводческой цифири — часто при помощи лихой и наглой фантазии. Не зная доярку даже в лицо, он мог по трем цифрам надоев написать о ней большой очерк с такими красочными деталями, что сама доярка хваталась за голову.

## ПОПУТЧИЦА

Больница располагалась на пригорке. Из Бокна, поверх расстеленной на подоконнике газеты, я видел едва ли не половину нашего района, взгляд без помех улетал километров на пятнадцать. В хороший солнечный день можно было различить дальние села с пиками серых церковных колоколен — мрачных и безжизненных даже на расстоянии. Чем дальше находилось то или иное село, тем прозрачнее, отчетливее, обтекаемое казались и сама церквушка, и окружающие ее деревья. Различались вагончики поезда, ползущего вдоль горизонта — там была железная дорога, по ней я ездил в Москву, когда учился заочно в техническом вузе. Днем железная дорога казалась бесшумной, лишь изредка постукивали колеса, зато ночью невидимые составы лязгали и гремели под звездной крышей, словно колея проходила через больничный двор,

напрочь лишая сна старого обходчика дядю Михая. А если ночью подойти к окну, то можно разглядеть огоньки вагонных окон, вытягивающиеся на горизонте в шевелящиеся желтые бусы.

...Глядя на поезда, я часто вспоминал одну красавицу, с которой познакомился года два назад, возвращаясь с экзаменов домой.

В тот день будто облачко вплыло в общий вагон, и сразу все вокруг потишело, даже картежники перестали шуметь, и карты в их руках замедлили движение. На нее никто особо не пялился, но все равно как-то стало неудобно. Будто в воздухе что-то нарушилось, и он сразу попрохладнел и посуровел. Она села рядом со мной, так уж получилось.

Было в этой девице что-то необъяснимо нашенское. Бывает так — приедешь на Павелецкий вокзал, глянешь вокруг, послушаешь говор: свой народ! А чем свои, почему — непонятно. Вот и эта была такая, из наших краев, можно сказать, землячка.

Я сдал почти экзамены и ехал домой, забыв о «хвостах» и прочих хлопотах. То лето выдалось необычайно жарким — под Москвой горели леса, дымилась трава на лугах и обочинах. В раскаленный торф, будто в ад, проваливались тракторы вместе с трактористами. Дымом полнилась, дышала вся Москва. Даже в метро гулял голубой горьковатый туман, рассеивая свет фонарей и прожекторов.

Мы уже порядочно отъехали от Москвы, а все еще пахло гарью. Казалось, дымятся и вагоны, и чемоданы, и даже апельсины в руках детей.

Спустя два часа поезд надолго остановился. Надо было ждать встречный состав. Проводница открыла железные пыльные двери и решила погулять.

Я помог красавице сойти с вагонных ступенек, взял ее за талию — она мне показалась очень тяжелой, будто из камня сделана.

Шли по траве вдоль состава, наклонялись то и дело, рвали ягоды, которых здесь было много: кроваво-красные, подсохшие, душистые, в черной сухой корочке, будто подгоревшие.

Грустно шевелилось на ходу белое платье в голубых цветочках. С хрустом проминалась под туфельками сухая молодая трава. На узких, чуть ободренных носках туфель алыми

пятнышками отпечатывался сок раздавленных ягод.

И здесь мы увидели нашего гармониста. Тогда он был еще не больной — сидел на зеленом бугорке в тени куста, играл, напевая какое-то старинное страдание. Как выяснилось, он возвращался со свадьбы. Его в те времена даже в города приглашали на свадьбы, особенно родственники, ценившие сельские мелодии.

Он играл, напевал, поглядывая то на пассажиров, то на початую бутылку водки. Свежий дымок завивался над ним затейливой греческой буквой, словно выписывал математическую формулу его судьбы.

Гармонист узнал меня. Не переставая играть, кивком поющего отстраненного лица приветствовал нас.

Красавица закрылась ладонями от песни, будто застыдилась чего-то. Слезинка мелькнула на ее щеке и тут же исчезла, отброшенная длинным пальцем прочь, к насыпи, где стояли неподвижные раскаленные вагоны, пожелтевшие от жары.

«Выпей, девушка!» — предложил ей гармонист. Заскорузлая натруженная рука — он работал, кажется, в то время трактористом — потянулась к бутылке. Сполоснув стакан водкой, налил примерно треть его. Наливал, поглядывая вопросительно на красавицу. Она кивнула, он перестал лить. Поднял стакан с земли, медленно подал. К доньшку граненой посуды прилипла, болтаясь, жухлая травинка. Водка маслянисто колыхалась, блестела ярче стекла. Красавица стиснула своими тонкими белыми пальцами мое запястье и одним махом, перегнув белую высокую шею, выпила, словно лихая бабенка на свадьбе.

«Как тебя зовут?» — спросил я.

Она передыхала после водки с приоткрытым ртом. Коричневые радужки глаз ее мерцали глубинным думающим светом, губы горько лоснились, от них шел сладковатый винный парок, и в ней самой было что-то опьяняющее — хотелось обнять ее всю, прижаться и тоже сделаться пьяным.

«Никак не зовут...» — ответила она, поглядывая на дымящиеся луга.

«Эх, Россия наша, сторонушка, Россия-грустнота!» — гармонист снова наполнил ста-

кан, подал его мне, подмигнул. Я выпил. Кругом стояла жара, а в меня будто вбили холодный кол, я передернул плечами.

Девушка взяла меня под руку, и мы пошли дальше. Гармонист заиграл нам вслед странную грустно-веселую мелодию — у него такие получались, за это его и любил поселковый народ. Моя попутчица слегка качнулась, прислонила голову к моему плечу: через рукав рубашки я почувствовал, как загорячела ее щека.

А дальше был лес. Мы углубились в него и шли теперь уже без тропинок. Все тише становились голоса, хрустел под ногами сочный папоротник.

Очугились в черной чаше, под могучими дубами. Тень под ними была похожа на ночь. Меж стволов стояла сплошная чернота, только звезд в ней не хватало. Под ветками в желтовато-зеленых шевелящихся листочках плыл, извиваясь и клубясь, черный дымок.

Мы остановились возле огромного корявого ствола. Я схватил ее за тонкую руку — холодную, но все-таки живую, с удлиненными пальцами, и начал ее машинально сминать, чувствуя, как накопившийся вагонный жар усталости, мука затерпевшихся неподвижных мышц переходит в бестрепетную грубую ласку.

«Так ты, говоришь, на инженера учишься? — взглянула она на меня. — Господи, он будет инженером! Подумать только...»

Я наклонился и поцеловал ее в насмешливые сжатые губы. Теперь я не видел ее всю, ощущал лишь прикосновением губ, и чужая ее красота затмилась прохладой обыкновенного поцелуя. Ее губы пахли спокойствием к любви, общим вагоном и неизвестной ее жизнью. Такое же ощущение испытал я в детстве, когда впервые лизнул тюбик мороженого: тает на губах, и не поймешь, чего в нем больше — сладости, нежности или холода.

Измотанный высшими математиками, сопроматами и термехами, я сжал ее с такой силой, что она застонала.

«Пойдем... — сказала она. — Поезд уходит...»

Наступила ночь. Моя красотка дремала, скрестив руки на груди. Голова ее лежала на моем плече, и я не мог спать. Губы ее приоткрылись в су-

хой забывчивости сна, белым узорчиком замерла в крошках помады кружевная слюнка.

Под утро я собирался пропустить свою станцию и сойти на следующей вместе с красавицей, чтобы проводить ее до деревни. Однако она наотрез отказалась от моей услуги и велела выходить где положено. В поезде, мол, едут знакомые из ее деревни.

Я воспринял это почти с облегчением, освобождаясь от вагона и от красавицы, делаясь совсем свободным в предутренней темноте. Кажется, она подала мне на прощание руку: холодную, словно неживую. Она записала мне в блокноте свой адрес, не московский, а деревенский, но я так и не написал ей, замотанный ежедневной газетной круговертью.

От станции до поселка было километра два по серой, в выбоинах дороге. Асфальт дышал влажным холодом росы, но даже в этой предутренней прохладе чувствовалась затяжная неумолимая засуха. Воздух был ночной, теплый, насыщенный испарениями и запахом перегретой за вчерашний день листвы. Позади на станции послышалось пение гармошки: по просьбе дежурного станции и нескольких зевак гармонист наигрывал частушки.

Тогда я еще не знал, что в это же утро мою красавицу изнасиловал, а затем убил серый мужичок из соседней с ней деревушки, навязавшийся ей в попутчики. Она его знала и пошла с ним по лесной дороге.

Он закопал ее под высоковольтной опорой, чтобы случайно не выпахали трактором и чтобы звери не тронули. А сам спустя какое-то время украл что-то из колхоза и сел на пару лет в тюрьму. Ему надо было переждать это дело. Но вскоре с ним что-то случилось, он вроде бы сдвинулся с ума и проболтался о недавнем убийстве. Истерика с ним, рассказывали, приключилась: мерещилась ему девушка в белом платье и с белым лицом, и он бился головой в стену, грыз решетку — просился к ней. Он, дескать, откопает могилку, а там она лежит как живая...

Я кое-как окончил институт, но по специальности работать так и не стал, остался в газете литсотрудником.

Здесь, в больнице, я часто вспоминал свою попутчицу того дымного дня, особенно вечера-

ми, наблюдая далекие желтые огоньки поездов.

«Кто ты? Как тебя зовут?» — спрашивал я в темноту. Блокнот с ее адресом я давно потерял, и у меня не осталось в памяти ее имени. Меня качало от непонятного горя, я хватался взглядом за убегающую нитку светящихся вагонных бус. Где ты, милая? Неужто тебя взаправду убили?

Сзади, из палаты, отзывался Пал Иваныч, сохранивший чуткий слух конспиратора:

— Нашу Россию не убьешь и не победишь. Она всегда живая и живой останется!

## ОХРИПШИЙ ПРОРОК

**П**ал Иваныч потребовал у меня лист бумаги, авторучку, согнулся над тумбочкой в виде вопросительного знака, водил медленно рукой. Получались крупные детские каракули, хотя и с таким гордым наркомовским завитком.

Устав от такой работы, ветеран поднялся со стула, схватил наполовину исписанный лист, потряс им в воздухе. Лист грозно зашелестел, затрепыхался.

— Вот моя ненаписанная революция... — сказал он со вздохом.

— Когда же тебе писать-то было, — заметил Сапрон, — ты только стрелял. Пиши хоть теперь. Напишешь, каким ты хорошим был, героем будешь на бумаге.

— Что ты понимаешь в бумаге? — серчал старик. — Бумага лучше человека — она слово держит.

Пал Иваныч приказал мне занять его место и принялся диктовать завещание, которое, за неимением родственников, намеревался отправить в райком на имя первого секретаря.

Первым делом он потребовал, чтобы гроб его на случай возможной смерти обили красной материей.

Далее он сокрушался между делом, что так и не сумел превратить революцию в вещь, которую можно было бы пощупать руками. Чтобы любой и каждый, потрогав, мог бы воскликнуть: да, это воистину революционно и справедливо! Обводя всю палату вопросительным взглядом, он вслух спрашивал: а не стал ли он,

Пал Иваныч, от этой самой недостижимости идеалов идеалистом?

В своем завещании он требовал, чтобы возродили красный цвет, а то и закатное небо, и флаг на сельсовете стали почему-то серыми. Он не хотел слушать врача, который объяснил, что от давнего ранения в межглазье и нынешней потери витаминов в старом организме наступила невосприимчивость к отдельным цветам.

Пал Иваныч яростно возражал: быть такого не может! С сельсоветским флагом все ясно — перерожденцы, лодыри, уклонисты от всяких дел, флаг ихний исхлестали дожди, свили некогда алую материю в жгут, в ничто. Западный закат стал серым от расцвета буржуазного существования, но восток, восток-то почему стал навсегда серым? Смотрит Пал Иваныч по утрам и видит серое солнце. А когда ковырнул булавкой руку и увидел капельку серой крови, то и вовсе пришел в ужас, полдня не пил, не ел, уверяя, что это происки врагов революции, заменивших повсюду красный гордый цвет на серый цвет приспособленчества и благодушия.

— Пиши дальше! — прикрикнул он на меня, безмерно огорченный этой всеобщей серостью.

Покашливая, надолго задумываясь, ветеран бормотал что-то о революционной божественности, которой хотел для себя персонально добиться. Но не сумел. Судьба впала против Пал Иваныча в ярость и принялась терзать его.

Так он диктовал свое завещание. Трудно было уловить смысл его бормотаний, перемежаемых ругательствами, одышкой, покашливанием.

Все слушали, кивали сострадательно. Почему-то было жаль старого активиста, хоть он и считал себя революционным Христом, возвратившим в мир дух Ленина.

— В человеке все должно быть революционно высочайше! — Пал Иваныч дрожал от преданности прошлому. Коричневая яйцообразная голова с редкими пуховыми волосами, развевающимися в разные стороны, была похожа на бомбу. Рассказывал, что в молодости порой сам себя не узнавал, когда гляделся редкими минутами в зеркало. Видел там себя



и в то же время будто и не различал собственную личность. Казалось, душа спряталась, оставив вместо себя изображение исхудалого бессмысленного лица. А когда приходилось выводить в расход всяких сволочей и собственноручно исполнять их у стенки, то его личное зеркальное отражение после всех таких делов становилось особенно жутким, словно не человек шевелился на дрожащей поверхности памяти, а вырезанная из картона фигура; будто жизнь из тебя убежала, устремившись вдогонку за чужой жизнью, которую ты только что вышиб наганной пулей. После горячки карающей работы Пал Иваныч забывал порой даже собственное имя и не сразу откликнулся на голоса нижних, стоящих перед ним товарищей, и нормального роста сослуживцы казались ему в такие послерасстрельные минуты карликами.

Со слезами на глазах ветеран кричал на всю больницу, что построил социализм единолично, по-кулацки, в одном лишь собственном сердце, вопреки серым флагам, мотающимся насмешкой над советской властью.

В последних строчках завещания «апостол революции» грозил, что если не получит ответа из райкома, то будет жаловаться самому Брежневу.

Пришла медсестра и начала ставить ему банки. Спина Пал Иваныча, исполосованная рубцами, синевато бугрилась, блестела стеклянными выпуклостями. Обернув голову назад, из-под банок, образовавших над ним горб, ветеран глядел вбок остановившимся сверкающим взором. Если он умрет, выговаривал Пал Иваныч задумчиво, все равно над землей будет летать его карающий дух. Если теперешняя жизнь, на которую затрачено столько крови и слез, не захотела измениться к лучшему, то он, Пал Иваныч, один из переделывателей этого мира, отрекается от всех и вся.

— Пропадите вы все пропадом, ежели вы такими нехорошими получились!

Нам было жутко смотреть на Пал Иваныча, но мы смотрели.

А дядя Михай, любитель спокойствия и тишины, тот и вовсе глядел на старика с ужасом и никак не мог допить молоко из большой алюминиевой кружки — жидкость станови-

лась поперек горла, испуганно там клекотала, словно активист и на молоко, и на все окружающие предметы тоже нагнал страху.

Поглядев на кружку, прижатую к толстым губам дяди Михая, Пал Иваныч вдруг рассердился.

— Встать! — закричал он громовым голосом.

Дядюшка подскочил, в животе у него от испуга забурчало, кружка свалилась на пол, облив пижаму молочной пятнистой сыростью. Вытянувшись по-солдатски в полный рост, толстяк тут же откусил от булки, но боялся жевать, так и застыл с набитым ртом.

Пришла медсестра, стала снимать банки. Они отчмокивались от спины Пал Иваныча с резким сабельным посвистом.

— Вольно! — разрешил Пал Иваныч дяде Михая. Тот покорно сел на кровать, поправил одеяло, вздохнул, отложил булку. Он всегда вздыхал, когда наедался.

## ДУХ СВАДЬБЫ

— Значит, к нему теперь власть перешла? — презрительно усмехнулся Пал Иваныч, показывая длинным коричневым пальцем на спящего гармониста. — Он, немой, будет нами командовать?

— Не всегда же тебе одному выкрикивать лозунги, — ответил задумчиво Сапрон. — Пусть у нас теперь будет задушевное командование! Гармонист поведет нас на свадьбу! Да сядь ты на место, революция раскоряченная... Свадьбу делать — это тебе не черепа крушить, тут разумение требуется, доброта, веселость народная. На свадьбе, брат Пал Иваныч, музыка играет, а у тебя музыки отродясь не водилось, одна лишь «железная» дисциплина, которую ты сам же постоянно и нарушал.

— Моя музыка — бой! — вздыбился всем телом старик. — Моя струна — сабля!..

Гармонист вовсе не чувствовал себя «вождем», как это приписывал ему Пал Иваныч. Но по больнице действительно прошел слух, что гармониста опять пригласили на свадьбу в соседнюю деревню. Будто бы приходила за ним бледная красивая женщина, вся одетая в черное, и, склонившись над койкой гармониста, что-то пошептала ему на ухо. Он в ответ

вздрогнул, широко открыл глаза, глядя на нее, и сказал, что обязательно придет... Куда же теперь деваться?..

В очередной вечер гармонист действительно переоделся и лег спать поверх одеяла в лучшем своем, хотя и не новом, костюме. Ноги в начищенных ботинках положил на табурет, чтобы не пачкать одеяло. Музыкант отдыхал. Гармошка, застегнутая на ремень, как всегда, стояла на тумбочке. Мы ходили вокруг нее осторожно, чтобы не свалить нечаянно на пол и не повредить старинные, заключенные в ней голоса. Елецкая рояльная гармонь, сделанная неизвестным мастером, со стертými деревянными клавишами, скруглившимися от многолетних прикосновений пальцев гармониста. Под облупленной лаковой краской клавиш светился затейливый древесный узор.

— Дык нас-то не приглашали на эту свадьбу!.. — смущенно озирался дядя Михай. Он то и дело подходил к окну, нервничал, словно опаздывал на поезд. — Мы придем, а нас и за столы не посадят.

— Черт с ними, с вином и закуской... — проворчал задумчиво Сапрон. — Мы не есть и не пить идем! Мы другого хотим — душевного! Гармонист будет играть, а мы будем смотреть и радоваться на людей, которые веселятся в разгар перестройки. Разве этого мало?

— Гармошка, гармошечка, спаси нас, бедных!.. — шептал в своем уголке дядя Михай, испуганно крестился на больничныи угол. Затем он вздохнул, заглянул в свою пустую кружку и снова поставил ее на тумбочку.

Лицо гармониста казалось гораздо бледнее обычного. Не было заметно даже дыхания.

Дядя Михай насторожился, подошел на цыпочках к кровати гармониста:

— Время подходит идтить, а он все спит.

Дядя Михай, обернувшись, поманил Сапрона:

— Ты у нас специалист по мертвецам — глянь-ка, живой наш музыкант аль нет?

Бывший разведчик подошел, поглядел, заругался, затейливо вплетая в сеть слов свои обычные нагромождения типа «сам ты покойник трижды креста и всех ангелов мать».

Глаза гармониста медленно открылись на ругань Сапрона. Выражения Сапроновы часто

его забавляли. Он кивнул головой, слабо улыбнулся.

Потишело в соседней палате — старушки прислушивались к нашим голосам, они знали, что мы собираемся на свадьбу.

— Как бы они за нами не увязались, — выразил опасение дядя Михай. — Деревня близко, на свадьбу всем хочется хотя бы поглядеть...

— Пущай идут, не жалко.

В старушечьей палате усилилось шебуршанье.

— Сыграй напоследок! — попросил неожиданно Пал Иваныч гармониста. И, не дожидаясь, пока тот встанет с постели, завел куплеты страдания. Жилы на его шее взбухли, выступили черными жгутами, змеились от напора крови, приливающей к судорожно двигающимся старым челюстям. Ветеран пел с таким трудом, с таким отчаянным усилием, будто грыз железо. Пел хрипло, матерно, бездумно. В словах страдания изливалась тоска о похабной милке, обманувшей его в невероятно далекие времена. И все-таки странный нежный проголосок звучал в грубых и глупых словах, что-то молодое, давнишнее прорвалось в этом хриплом визгливом пении. Мне показалось, что я вижу перед собой Пал Иваныча-юношу.

Дядюшка внимательно присмотрелся к старику:

— Пал Иваныч, ты либо плачешь?

— Упаси бог, — прохрипел тот испевшимся, враз осипшим голосом. — Никогда не плакал, даже перед мучителями.

По щекам его, искрясь и прыгая, мчались одна за другой крупные вечерние слезы. Он смахивал их с лица, и они разлетались вокруг, словно тяжелые прозрачные камни.

Когда выбрали на крыльцо вслед за гармонистом, повесившим гармонь через плечо, оказалось, что с нами отправилась в путь чуть ли не вся больница.

— Куды? — выползла из своего закоулка Матрена, загораживая дорогу шваброй.

— Прочь с пути! — воскликнул Пал Иваныч и замахнулся палкой. — Народные массы идут. Народ не может быть неподвижным, ему идея нужна... Вперед, вперед, товарищи!

Он встал впереди нашей нестройной процессии, и мы двинулись в ночные сумерки по

еле видной проселочной дороге вслед за поло­сатой пижамой, болтающейся на длинной вы­сокой фигуре Пал Иваныча. Больничные та­почки соскочили с его старых разлапистых смуглых ступней, блестели в темноте синие за­корюченные ногти.

Он быстро уморился, потребовал, чтобы его держали под руки.

— Не уроните меня, окаянные! У меня в поз­воночнике пустота. Оттуда мозги наш Василь Василич выкачал для анализа моей революци­онной закваски.

Он вцепился в мое плечо со страшной си­лой, сжал так, что оно тотчас окаменело.

— Я нарком! — кричал он, отмахивая костью­лем холодную пыль августовской дороги, лип­нувшую к потному лицу. — Восходит, восходит карающий дух народа!

Мне стало не по себе от сознания того, что вместе со старухами и полоумными стариками иду неизвестно куда, в деревню, которой, может быть, вовсе и не существует на карте, на свадьбу, куда нас никто не приглашал. Но остановиться мы уже не могли — надо было идти. И люди, с которыми я шел, ничего не боялись. Пес Пират тоже увязался с нами, бесшумно семеня корот­кими, кривыми лапами вдоль обочины.

Мы вошли в глубокий овраг, в запах земля­ной сырости. Гармонист выронил гармошку, она жалобно звякнула в темноте. Ее тут же кто-то подобрал и вручил обратно хозяину.

На горизонте протлела долгая вспышка, по­хожая на зарево, словно там зарождалась свадьба, на которую мы спешили.

— Свадьба умерла! — воскликнул Пал Ива­ныч, останавливаясь и в бессилии закрывая ли­цо руками. — Этот факт такой же очевидный, как потеря великой мечты нашего народа.

— Свадьба жива! — отвечал ему робким голо­сом дядя Михай. — Мы должны увидеть, какая она из себя. Жизнь другая началась, и все вок­руг нас другое. Если мы народ, то мы должны приспособливаться. Свадьба живет вровень с веком, ей наши страдания нипочем...

Сапрон поднял гармониста, как флаг, крепко держа его обеими руками. Гармошка разверну­лась, ойкнула странным голосом, шевельну­лась под напором встречного ночного ветра. Гармонист мертво, по-флажному трепетал,

взмахнул рукой, словно хотел что-то сказать. Но голос его навсегда был для нас потерян.

— Поставьте больного на место! — завопила Матрена, охаживая Сапрона шваброй. — Ты его ломаешь, а доктор будет меня ругать, что не усмотрела.

— Не орите! — приказал Пал Иваныч. — Анархии не допущу. Все вы тут оппортунисты и кулаки, я не возьму вас в новое, пока еще не­понятное будущее. На полезное дело вас кну­том не загонишь, а на свадьбу они первые мчатся...

Кто-то показал пальцем в сторону лесополо­сы: там шла красивая женщина с бледным ли­цом — гармонистова смерть, та самая, которая совсем недавно приходила к нему в палату.

Начался внезапный ливень, но мне, как и всем людям в толпе, было уже все равно, куда и зачем мы идем. Вернуться в тихую больнич­ную жизнь было уже невозможно. Вдоль доро­ги мчался ручей, сверкающий в отблесках но­чи. В потоке вихрились клочки соломы, палые листья, увядающие полевые цветы.

Впереди — зарево счастья, летний неугасаю­щий рассвет.

В луже, рябой от дождя, в белых точках пены мы увидели фигуру человека, лежащего в луже с беспомощно раскинутыми руками. На обо­чине дымящийся мотоцикл с коляской, опро­кинутый вверх колесами. Лева! Я сразу узнал эту фигуру. Я поднял его — он был жив. Прос­то он в очередной раз упал с мотоцикла, а лу­жа его спасла.

— Это упал не данный товарищ Лев! — кон­статировал Пал Иваныч. — Мы наблюдаем че­рез факт падения Левы сознательное обруше­ние мира...

Рассвет тлел, переходя из своего ночного об­раза в утренний.

Надо было что-то делать. Но возвращаться назад, в больницу, ужасно не хотелось. Даже Матрена встала на мокром бугре, словно пол­ководец, опираясь на свою щетинистую, слов­но шлем римского воина, швабру. Грязный белый халат ее сделался прозрачно мокрым, под ним просвечивали кружевная комбина­ция и огромные, до колен, оранжевые рейту­зы, над которыми в обычные дни потешались больничные мужики.

— Да, товарищи! — произнес Пал Иваныч, по привычке вскидывая облепленный дождем рукав гимнастерки, под которым четко облепилась влагой кость бойца и оратора. — Возвращение назад, в больницу, фактически состояться не может. Зачем возвращаться в ничтожный мрак существования на заре нового века? Возвращение в ничто хуже смерти. Там, в прошлом, мелькают неприятные вредные тени, от которых мы никак не можем избавиться... Так поднимайте скорее из лужи стареющий образ века — Леву! И держите покрепче меня — бессмертный образ справедливости!

Дядя Михай, несмотря на дождь, доедал больничный пирожок с творогом.

— Зачем нам эта свадьба, если нас и в больнице колхозным мясом кормют? — пробормотал он вопросительно и закашлялся, подавившись плохо пропеченным тестом. Пал Иваныч постучал его по спине, и толстяк снова раздышался.

— Я ехал за вами... — сказала грязевое Левино лицо.

Матрена вытерла ему лицо своей незаменимой тряпкой, снятой со швабры.

Вдали светились какие-то огни, бледные на фоне вспыхивающих молний, и все же они не могли затмить летний рассвет, и все мы дрожали от холода.

Заработали все фейерверки, превращая свое шипенье в яркость и красочность вспыхивающего неба. Где-то вдалеке праздновали свое открытие новые богатые предприятия с неизвестными владельцами и непонятными богатствами. Сотни тысяч дальних зрителей, вполне здоровых и счастливых на фоне такого зрелища, и отдаленные голоса их звучали как умирающие; гул этих голосов был чужеземным и непонятным, растворенным в дикой неопределенной родине, в скошенных сырых полях, гасящих все ракеты и восторженные крики, в них звучало приветствие новому веку.

А мы все шли и шли по прежним скособоченным полям.

□

### **Александр ТИТОВ**

*родился в 1950 г. в селе Красное Липецкой области, окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы.*

*Автор семи сборников прозы.*

*Публиковался в журналах «Подъем», «Волга», «Север», «Литературная учеба», «Новый мир» и др.*

*Дипломант литературного конкурса им. Н. Островского (1980),*

*Пятого Волошинского конкурса (2007),*

*финалист национальной литературной премии для детей и юношества «Заветная мечта-2008» за повесть «Ангелок»,*

*по мотивам которой снят полнометражный фильм «Ангел», Москва, киностудия «Ракурс», 2011),*

*лауреат областной литературной премии имени Е. Замятина (2010),*

*а также областной литературной премии имени И. Бунина (2011)*

*и премии областного липецкого журнала «Петровский мост» (2012).*

